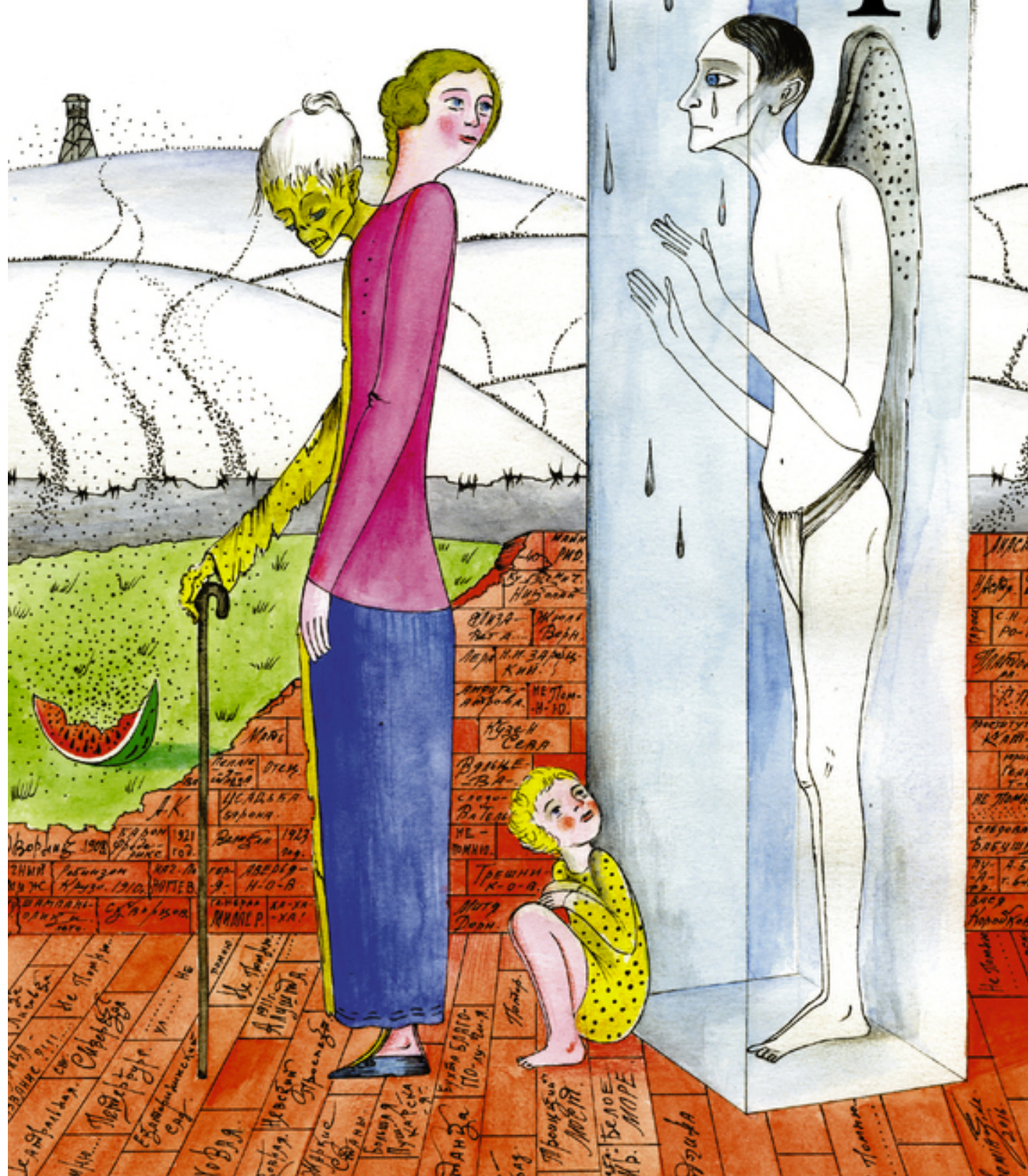


НОВЫЙ
РОМАН

Евгений Водолазкин Авиатор



Евгений Водолазкин

Авиатор

«Издательство АСТ»

2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Водолазкин Е. Г.

Авиатор / Е. Г. Водолазкин — «Издательство АСТ», 2015

ISBN 978-5-17-096655-4

Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии *tabula rasa*: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала XX века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки... Но откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре – 1999 год?..

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-096655-4

© Водолазкин Е. Г., 2015

© Издательство АСТ, 2015

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Евгений Водолазкин

Авиатор

Моей дочери

- *Что вы всё пишете?*
- *Описываю предметы, ощущения. Людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения.*
- *Мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать здесь на успех.*
- *Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую, частицу этого мира... Хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор достаточно широк.*
- *Например?*
- *Например, авиатор.*

Разговор в самолете

- © Водолазкин Е.Г.
- © М.Шемякин, иллюстрации
- © ООО “Издательство АСТ”

Часть первая

Говорил ей: в холода носи шапку, иначе отморозишь уши. Посмотри, говорил, сколько сейчас прохожих без ушей. Она соглашалась, мол, да-да, надо бы, но не носила. Смеялась над шуткой и продолжала ходить без шапки. Такая вот картинка всплыла в памяти, хотя о ком здесь идет речь – ума не приложу.

Или, допустим, вспомнился скандал – безобразный, изнурительный. Непонятно где разыгравшийся. Обидно то, что начиналось общение хорошо, можно сказать, доброжелательно, а потом слово за слово все переругались. Главное, самым же потом стало удивительно – почему, зачем?

Кто-то заметил, что часто так бывает на поминках: часа полтора говорят о том, каким покойник был хорошим человеком. А потом кто-то из пришедших вспоминает, что был покойник, оказывается, не только хорошим. И тут, как по команде, многие начинают высказываться, дополнять – и мало-помалу приходят к выводу, что был он, вообще-то, первостатейным мерзавцем.

Или совсем уж фантазмагория: кому-то дают по голове куском колбасы, и вот этот человек катится по наклонной плоскости, катится и не может остановиться, и от этого качения кружится голова...

Моя голова. Кружится. Лежу на кровати.

Где я?

Шаги.

Вошел неизвестный в белом халате. Стоял, положив руку на губы, смотрел на меня (в дверной щели еще чья-то голова). Я же, в свою очередь, смотрел на него – не открываясь как бы. Из-под неплотно сомкнутых ресниц. Он заметил их дрожание.

– Проснулись?

Я открыл глаза. Приблизившись к моей кровати, неизвестный протянул руку:

– Гейгер. Ваш врач.

Я вытащил из-под одеяла правую руку и почувствовал бережное рукопожатие Гейгера. Так касаются, когда боятся сломать. На мгновение он оглянулся, и дверь захлопнулась. Не отпуская моей руки, Гейгер наклонился ко мне:

– А вы – Иннокентий Петрович Платонов, не так ли?

Я не мог этого подтвердить. Если он так говорит, значит, имеет на то основания. Иннокентий Петрович... Я молча спрятал руку под одеяло.

– Вы ничего не помните? – спросил Гейгер.

Я покачал головой. Иннокентий Петрович Платонов. Респектабельно. Немного, может быть, литературно.

– Помните, как я сейчас подошел к кровати? Как назвал себя?

Зачем он так со мной? Или я действительно совсем плох? Выдержав паузу, говорю скрипуче:

– Помню.

– А до этого?

Я почувствовал, как меня душат слезы. Они вырвались наружу, и я зарыдал. Взяв с прикроватного столика салфетку, Гейгер вытер мне лицо.

– Ну что вы, Иннокентий Петрович. На свете так мало событий, о которых стоит помнить, а вы расстраиваетесь.

– Моя память восстановится?

– Очень на это надеюсь. У вас такой случай, что ничего нельзя утверждать наверное. – Он поставил мне градусник. – Знаете, вы вспоминайте побольше, здесь важно ваше усилие. Нужно, чтобы вы сами всё вспомнили.

Вижу волосы в носу Гейгера. На подбородке царапины после бритья.

Спокойно смотрит на меня. Высокий лоб, прямой нос, пенсне – будто кто-то его нарисовал. Есть лица настолько типичные, что кажутся выдуманными.

– Я попал в аварию?

– Можно сказать и так.

В открытой форточке воздух палаты смешивается с зимним воздухом за окном. Становится мутным, дрожит, плавится, и вертикальная планка рамы сливается со стволом дерева, и ранние сумерки – где-то я уже это видел. И влетающие снежинки видел. Тающие, не долетев до подоконника... Где?

– Я ничего не помню. Только мелочи какие-то – снежинки в больничной форточке, прохлада стекла, если к нему прикоснуться лбом. Событий – не помню.

– Я бы мог вам, конечно, напомнить что-то из происходившего, но жизнь во всей полноте не перескажешь. Из вашей жизни я знаю только самое внешнее: где вы жили, с кем имели дело. При этом мне неизвестна история ваших мыслей, ощущений – понимаете? – Он вытащил у меня из подмышки градусник. – 38,5. Многовато.

Понедельник

Вчера еще не было времени. А сегодня – понедельник. Дело было так. Гейгер принес карандаш и толстую тетрадь. Ушел. Вернулся с подставкой для письма.

– Всё, что произошло за день, записывайте. И всё, что из прошлого вспомните, тоже записывайте. Этот ежедневник – для меня. Я буду видеть, как быстро мы в нашем деле продвигаемся.

– Все мои события пока что связаны с вами. Значит, писать про вас?

– Abgemacht¹. Описывайте и оценивайте меня всесторонне – моя скромная персона потянет за собой другие нити вашего сознания. А круг вашего общения мы будем расширять постепенно.

Гейгер приладил подставку над моим животом. Она печально приподнималась с каждым моим вздохом, словно сама вздыхала. Гейгер поправил. Открыл тетрадь, вставил мне в пальцы карандаш – что, вообще говоря, лишнее. Я хоть и болею (спрашивается – чем?), но руками-ногами двигаю. Что, собственно, записывать – ничего ведь не происходит и ничего не вспоминается.

Тетрадь огромная – хватило бы для романа. Я кручу в руке карандаш. Чем же я все-таки болею? Доктор, я буду жить?

– Доктор, какое сегодня число?

Молчит. Я тоже молчу. Разве я спросил что-то неприличное?

– Давайте так, – произносит наконец Гейгер. – Давайте вы будете указывать только дни недели. Так мы легче поладим со временем.

Гейгер – сама загадочность. Отвечаю:

– Abgemacht.

Смеется.

А я взял и записал всё – за вчера и за сегодня.

¹ Договорились (нем.).

Вторник

Сегодня познакомился с сестрой Валентиной. Стройна. Немногословна.

Когда она вошла, прикинулся спящим – это уже входит в привычку. Потом открыл один глаз и спросил:

– Как вас зовут?

– Валентина. Врач сказал, вам нужен покой.

На все дальнейшие вопросы не отвечала. Стоя спиной ко мне, драила шваброй пол. Торжество ритма. Когда наклонялась, чтобы прополоскать в ведре тряпку, под халатом проступало ее белье. Какой уж тут покой...

Шучу. Сил – никаких. Утром мерил температуру – 38,7, Гейгера это беспокоит.

Меня беспокоит, что не получается отличать воспоминания от снов.

Неоднозначные впечатления сегодняшней ночи. Лежу дома с температурой – инфлюэнца. Бабушкина рука прохладна, градусник прохладен. Снежные вихри за окном – заматают дорогу в гимназию, куда я сегодня не пошел. Там, значит, дойдут на перекличке до “П” (скользит по журналу, весь в мелу, палец) и вызовут Платонова.

А Платонова нет, докладывает староста класса, он остался дома в связи с инфлюэнцей, ему, поди, “Робинзона Крузо” читают. В доме, возможно, слышны ходики. Бабушка, продолжает староста, прижимает к носу пенсне, и глаза ее от стекол велики и выпуклы. Выразительная картинка, соглашается учитель, назовем это апофеозом чтения (оживление в классе).

Суть происходящего, говорит староста, если вкратце, сводится к следующему. Легкомысленный молодой человек отправляется в морское путешествие и терпит кораблекрушение. Его выбрасывает на необитаемый остров, где он остается без средств к существованию, а главное – без людей. Людей нет вообще. Если бы он с самого начала вел себя благоразумно... Я не знаю, как это выразить, чтобы не впасть в менторский тон. Такая как бы притча о блудном сыне.

На классной доске (вчерашняя арифметика) уравнение, доски пола хранят влагу утренней уборки. Учитель живо представляет себе беспомощное барахтанье Робинзона в его стремлении достичь берега. Увидеть катастрофу в ее истинном размахе ему помогает картина Айвазовского “Девятый вал”. Молчание потрясенного учителя не прерывается ни единым возгласом. За двойными рамами едва слышны колёса экипажей.

Я и сам нередко почитывал “Робинзона Крузо”, но во время болезни не очень-то почитаешь. Резь в глазах, строки плывут. Я слежу за бабушкиными губами. Перед тем как перевернуть страницу, она подносит к губам палец. Иногда прихлебывает остывший чай, и тогда на “Робинзона Крузо” летят едва заметные брызги. Иногда – крошки от съеденного между главами сухаря. Выздоровев, я внимательно перелистываю прочитанное и вытряхиваю хлебные частицы, высохшие и сплюснутые.

– Помню много разных мест и людей, – сообщил я, волнуясь, Гейгеру, – помню какие-то высказывания. Но хоть убей – не помню, кто именно какие слова произносил. И – где.

Гейгер спокоен. Он надеется, что это пройдет. Он не считает это существенным.

А может, это и вправду несущественно? Может, имеет значение только то, что слова были произнесены и сохранились, а уж кем и где – дело десятое? Надо будет спросить об этом у Гейгера – он, кажется, всё знает.

Среда

А бывает и так: слова не сохранились, но картинка – в совершенной целости. Сидит, например, человек в сумерках. В комнате уже полумрак, а он всё не включает света – экономит, что ли? Скорбная неподвижность. Локоть упирается в стол, лоб покоится на ладони, мизинец

на отлете. Даже в темноте видно, что одежда его в складках, вся бурая такая до бесцветности, и одним белым пятном лицо и рука. Человек как бы в задумчивости, хотя на самом деле ни о чем и не думает, просто отдыхает. Может, даже говорит что-то, только слов не слышно. Мне, собственно, его слова неважны, да и с кем ему говорить – с самим собою? Он ведь не знает, что я за ним наблюдаю, а если что и говорит, то не мне. Шевелит губами, смотрит в окно. Капли на стекле отражают свечение улицы, переливаются огнями экипажей. Форточка скрипит.

До сих пор я видел в палате лишь двух человек – Гейгера и Валентину. Врач и медсестра – а кто еще, собственно, нужен? Собрался с силами, встал, подошел к окну – во дворе пусто, снег по колено. Один раз, держась за стенку, вышел из палаты в коридор – тут же появилась Валентина: у вас постельный режим, вернитесь в палату. Режим...

Кстати: оба выглядят старорежимно. Гейгер если не в халате, так обязательно в тройке. Напоминает Чехова... Я-то всё думал – кого он мне напоминает? Чехова! Еще и пенсне носит. Из ныне живущих пенсне я видел, по-моему, только у Станиславского, но тот – человек театра... Впрочем, я бы сказал, что в лечащей меня паре есть какая-то театральность. Валентина – вылитая сестра милосердия военного времени. 1914-й. Уж не знаю, как они отнесутся к моему впечатлению – Гейгер ведь это прочтет, так мы условились. В конце концов, он сам просил меня писать без утайки всё, что замечаю, вспоминаю, думаю, – пожалуйста, я так и пишу.

Сегодня у меня сломался грифель, сказал об этом Валентине. Она из кармана достает что-то вроде карандаша, протягивает мне.

– Забавно, – говорю, – металлический грифель, никогда не видел такого.

Валентина покраснела и быстро забрала у меня эту штуку обратно. Принесла потом другой карандаш. Отчего она покраснела? В туалет меня водят, для уколов кальсоны с меня стягивают – не краснеет, а тут карандаш, видите ли. В моей жизни сейчас масса мелких загадок, которые я не в силах разгадывать... Но краснеет она очаровательно, до кончиков ушей. Уши – тонкие, изящные. Вчера, когда слетела ее белая косынка, я ими любовался. Точнее, одним. Валентина наклонилась над лампой, спиной ко мне, и ухо ее розово просвечивало, хотелось прикоснуться. Не посмел. Да и сил не было.

Странное какое-то ощущение, будто лежу на этой койке целую вечность. Пошевелю рукой или ногой – боль в мышцах, а уж если встану без посторонней помощи – ноги как ватные. Зато температура чуть снизилась – 38,3.

Спрашиваю у Гейгера:

– Так что же со мной все-таки случилось?

– Это, – отвечает, – вы сами должны вспомнить, иначе ваше сознание заменится моим. Разве вы этого хотите?

А я и сам не знаю, хочу ли я этого. Может, у меня окажется такое сознание, что лучше бы его заменить.

Пятница

К вопросу о сознании: я его вчера терял. Гейгер с Валентиной сильно перепугались. Очнувшись, видел их опрокинутые лица – похоже, им было бы жаль меня потерять. Приятно, когда по какой-то причине в тебе нуждаются, – даже если эта причина не личная, а чистое, так сказать, человеколюбие. Весь вчерашний день Гейгер не возвращал мне мои листы. Боялся, видимо, что накануне я в своих писаниях перенапрягся. Я лежал, следил за тем, как падали хлопья снега за окном. Следя, заснул. Проснулся – хлопья всё еще падали.

У моей постели сидела на стуле Валентина. Влажной губкой вытерла мне лоб. Поцелуй, хотел сказать я, поцелуй меня в лоб. Не сказал. Потому что получилось бы, что она вытирала мой лоб, прежде чем поцеловать. Да и вообще – понятно, кого в лоб целуют... А вот взял ее за руку – не отняла. Только положила наши соединенные руки мне на живот, чтобы не

держат на весу. Ее ладонь покрывала мою кисть домиком – так учат держать руку при игре на фортепиано. Вероятно, меня тоже учили когда-то, если я знаю такие вещи. Перевернув руку, указательным пальцем я провел по потолку этого домика и ощутил, как он вздрогнул, распался, растекся по моей ладони. И я ощутил его тепло.

– Лягте рядом со мной, Валентина, – попросил я. – У меня нет дурных мыслей, и я совершенно безопасен – вам это известно. Мне только нужно, чтобы рядом со мной кто-то был. Совсем рядом, иначе я никогда не согреюсь. Я не могу этого объяснить, но это так.

Я с усилием подвинулся на широкой кровати, и Валентина легла рядом со мной – поверх одеяла. Я был уверен, что она выполнит мою просьбу, – сам не знаю почему. Наклонила голову к моей голове. Я вдыхал ее запах – настой глаженного, крахмального, белоснежного в соединении с ароматом духов и юного тела. Она делилась этим со мной, а я не мог надышаться. В открывшейся двери показался Гейгер, но Валентина осталась лежать. Что-то в ней напряглось (я это чувствовал), но не встала. Она, наверное, покраснела – не могла не покраснеть.

– Очень хорошо, – сказал, не входя, Гейгер, – отдыхайте.

Замечательная по-своему реакция.

Вообще-то, я не собирался этого описывать, это не меня одного касается, но раз уж он всё видел... Пусть Гейгер правильно поймет суть происходящего (да он, конечно, и так понимает). Я хочу, чтобы это повторялось – хоть по несколько минут в день.

Воскресенье

Проснувшись, прочел мысленно “Отче наш”. Оказалось, молитву воспроизвожу без запинки. Я, бывало, по воскресеньям, если не мог пойти в церковь, хотя бы “Отче наш” про себя читал. Шевелил губами на влажном ветру. Я жил на острове, где посещение служб не было делом само собой разумеющимся. И остров не то чтобы необитаемый, и храмы стояли, но так как-то всё сложилось, что посещать их было непросто. Подробностей сейчас уже и не вспомнишь.

Церковь – большая радость, особенно в детстве. Маленький, значит, держусь за юбку матери. Юбка под полушубком длинная, по полу шуршит. Мать ставит свечу к иконе, и юбка чуть приподнимается, а с ней – моя в варежке рука. Берет меня осторожно, подносит к иконе. Поясницей чувствую ее ладони, а мои валенки и варежки свободно перемещаются в воздухе, и я как бы парю в направлении иконы. Подо мною десятки свечей – праздничные, колеблются, – я смотрю на них и не могу отвести от этой яркости взгляда. Потрескивают, воск с них стекает, застывая тут же причудливыми сталактитами. Навстречу мне, распахнув руки, Матерь Божья, и я целую Ее в руку неловко, потому что полет мой не мной управляем, и, поцеловав, прикасаюсь, как положено, лбом. На мгновение чувствую прохладу Ее руки. И вот так я парю себе в церкви, проплываю над священником, машущим кадилом, – сквозь ароматный дым. Над хором – сквозь его песнопения (замедленные взмахи регента и его же гримасы на высоких нотах). Над старухой свечницею и заполнившим храм (обтекая столпы) народом, вдоль окон, за которыми заснеженная страна. Россия? У неплотно прикрытой двери зримо клубится стужа, на ручке – иней. Щель резко расширяется, в возникшем прямоугольнике – Гейгер.

– Доктор, мы ведь в России? – спрашиваю.

– Да, некоторым образом.

Обрабатывает мне руку для капельницы.

– Тогда почему вы – Гейгер?

Он смотрит на меня удивленно:

– Потому что я русский немец. Deutschrusse. А вы волновались, что мы в Германии?

Нет, не волновался. Просто теперь я могу считать, что точно знаю наше местоположение. До сегодняшнего дня оно было, в сущности, не очень понятно.

– А где сестра Валентина?

– У нее сегодня выходной.

Поставив капельницу, Гейгер измеряет мне температуру. 38,1.

– И что, – интересуюсь, – нет других сестер?

– Вы ненасытны.

А мне другая сестра не нужна. Я только не понимаю, что это за учреждение такое, где один врач, одна сестра и один пациент. Что ж, в России всё возможно. В России... Распространенная, должно быть, фраза, если сохранилась даже в моей разрушенной памяти. Есть в ней свой ритм. Не знаю, что за этим стоит, а *фраза* вот помню.

Таких неизвестно откуда всплывших фраз у меня уже несколько. У них есть, наверное, своя история, а я произношу их как в первый раз. Чувствую себя Адамом. Или ребенком: дети часто произносят фразы, еще не зная их смысла. В России всё возможно, м-да. Есть в этом осуждение, что ли, даже приговор. Чувствуется, что это какая-то нехорошая безграничность, что всё направится известно в какую сторону. В какой мере эта фраза касается меня?

Подумав, сообщаю фразу Гейгеру как немцу и прошу ее оценить. Слежу за движением губ его и бровей – так пробуют вино. Он шумно вдыхает, словно для ответа, но после паузы – так же шумно выдыхает. Как немец, он решил промолчать – чтобы, допустим, не травмировать меня. Вместо этого просит меня показать язык, что, на мой взгляд, по-своему оправданно. Мой язык действует еще в значительной степени самостоятельно: произносит то, что привык произносить, как это бывает у говорящих птиц. Видимо, Гейгер всё понял про мой язык и просит его показать. Когда я показываю, качает головой. Не радуется мой язык.

Подойдя к двери, Гейгер оборачивается:

– Да, вот еще... Если вам хочется, чтобы сестра Валентина лежала рядом – даже, допустим, под одним с вами одеялом, – говорите, не стесняйтесь. Это нормально.

– Сами знаете, что она в полной безопасности.

– Знаю. Хотя, – он щелкнул пальцами, – в России ведь всё возможно, а?

В данный момент – не всё... Чувствую это как никто другой.

Пятница

Все эти дни не было сил. Их и сегодня нет. В голове крутится странное: “Авиатор Платонов”. Тоже – *фраза*?

Спрашиваю у Гейгера:

– Доктор, я был авиатором?

– Насколько мне известно – нет...

Где же меня называли авиатором? Не в Куоккале? Точно, в Куоккале! Я кричу Гейгеру:

– Наименование связано с Куоккалой, где я... Где мы... Вы бывали в Куоккале, доктор?

– Она сейчас называется как-то иначе.

– Как?

– Ну, например, Репино... Главное – запишите ваше воспоминание.

Запишу – завтра. Устал.

Суббота

Мы с кузенком Севой на Финском заливе. Сева – сын брата моей матери: в детстве это объяснение родства для меня звучало ужас как сложно. Я и сейчас произношу это не без сбоев. Кузен – уже, конечно, полегче, но лучше всего – Сева. У Севиных родителей в Куоккале дом.

Мы с ним запускаем воздушного змея. Бежим по вечернему пляжу у самой кромки воды. Иногда задеваем воду босыми ступнями, и брызги сверкают в заходящем солнце. Воображаем

себя авиаторами. Летим вдвоем: на переднем сиденье я, на заднем Сева. Там, в холодном небе, пустынно и одиноко, но нас согревает наша дружба. Если погибнем, то вместе: это сближает. Пытаемся переговариваться – там, наверху, – но наши слова уносит ветром.

– Авиатор Платонов, – кричит мне сзади Сева. – Авиатор Платонов, по курсу населенный пункт Куоккала!

Я не понимаю, зачем Сева обращается к своему коллеге так церемонно. Может быть, для того, чтобы Платонов не забывал, что он авиатор. Севин тонкий голос (таким он у него и остался) разносится по всему пролетаемому нами населенному пункту. Иногда он смешивается с криками чаек и становится почти от них неотличим. Этот крик меня, по правде говоря, очень раздражает. Глядя на счастливое лицо Севы, я не нахожу в себе сил попросить его умолкнуть. В сущности, благодаря странному птичьему тембру я его и запомнил.

Перед сном нам дают горячее молоко с медом. Вообще-то, я не люблю горячего молока, но после полета над заливом, после морского ветра в лицо это не вызывает протеста. Мы с Севой – несмотря на то, что молоко едва лишь начало остывать, – пьем его большими громкими глотками. Молоко приносит финская молочница, и оно, особенно если не горячее, действительно очень вкусное. Путаясь в русских словах, финка хвалит свою корову. Эту корову я представляю похожей на самую молочницу – огромной, неторопливой, с широко посаженными глазами и тугим выменем.

Мы с Севой делим комнату на башенке. У нее круговой обзор (сзади лес, впереди море), что для опытных авиаторов немаловажно. В любое время можно оценить погоду: туман над морем – вероятность дождя; барашки на волнах и раскачивание верхушек сосен – штормовой ветер. И сосны, и волны меняют свой облик в сумраке белой ночи. В них появляется не то чтобы угроза, нет, просто они теряют свою дневную ласку. Так, видя улыбчивого человека задумавшимся, испытываешь беспокойство.

– Ты уже спишь? – шепотом спрашивает Сева.

– Нет, – отвечаю, – но собираюсь.

– Я видел за окном великана, – Сева показывает на окно, противоположное морю.

– Это сосна. Спи.

Через несколько минут раздается Севино сопенье. Я смотрю в указанное Севой окно. И вижу великана.

Понедельник

Понедельник – день тяжелый... Еще одна *фраза* из моей бедной головы. Интересно, много ли их еще там? Нет уже ни людей, ни событий, а слова остались – вот они. Наверное, слова исчезают последними, особенно – записанные. Гейгер, возможно, и сам до конца не понимает, какая это глубокая идея – писать. Может быть, именно слова окажутся той ниточкой, за которую когда-нибудь удастся вытащить всё, что было? Не только со мной – всё, что было вообще. День тяжелый... Я-то как раз чувствую легкость, даже радость какую-то. Оттого, думаю, что жду встречи с Валентиной. Попытался встать – закружилась голова, и легкость исчезла. А радость не исчезла.

Войдя, Валентина потрепала меня по щеке – как приятно. Все-таки удивительные от нее исходят ароматы – совершенно мне незнакомые. Духи, мыло? Естественные свойства Валентины? Спрашивать неудобно, да и не нужно. Во всём должна быть своя тайна, особенно в женщине... Тоже ведь – *фраза*. Чувствуется же, что *фраза*!

Вот еще одна: “Тепло быстро передается по металлу” – очень она мне нравилась. Не самая, может быть, распространенная, но для меня – одна из первых, мною слышанных. Сидим незнамо где, незнамо с кем, помешиваем чай ложечками. Лет мне пять, думаю, не больше, подо мной на стуле вышитая подушка (не достаю до стола), помешиваю чай, как взрослый.

Стакан – в подстаканнике. Ложка – горяча. Бросаю ее со звоном в стакан, дую на пальцы. “Тепло быстро передается по металлу”, – звучит приятным голосом. Красиво, научно. Я это в подобных случаях лет до двенадцати повторял.

Нет, это – не самое раннее. “Иди бестрепетно” – вот самое. Мы входим на Рождество в чей-то дом. У лестницы – чучело медведя на задних лапах, в передних лапах – поднос.

– Зачем поднос? – спрашиваю.

– Для визитных карточек, – отвечает отец.

Мои пальцы на мгновение ныряют в густой медвежий мех. Для чего медведю визитные карточки (поднимаемся по мраморным ступеням), и что такое визитные карточки? Я несколько раз повторяю два этих слова, оскальзываюсь, но повисаю на отцовской руке. Качаясь, созерцаю ковровую дорожку на мраморе – схвачена золочеными креплениями, чуть загнута по бокам, тоже качается. Смеющееся лицо отца. Входим в ярко освещенную залу. Елка, хоровод. Мои руки липкие от чьего-то пота, мне противно, но рук не разжать и из хоровода не вырваться. Кто-то говорит, что из присутствующих я самый маленький (это мы уже сидим на стульях вокруг елки). Он откуда-то знает, что я умею читать стихи, просит прочесть. И все тоже шумно просят. Рядом со мной оказывается старец в старинном мундире, с орденами под двухвостой бородой.

– Это, – говорят, – Терентий Осипович Добросклонов.

Вокруг нас образуется свободное пространство. Я молча смотрю на Терентия Осиповича. Он стоит, опираясь на трость и слегка наклонившись вбок, так что мелькает даже мысль, что он может упасть. Не падает.

– Иди бестрепетно, – советует мне Терентий Осипович.

Я бегу от приглашения – сквозь анфиладу комнат, – наклонив голову и широко расставив руки, замечая, как мое отражение мелькает в зеркалах, а в шкафах звенит посуда. В последней комнате меня ловит толстая кухарка. Прижимая к своему переднику (тошнотворный запах кухни), торжественно вносит меня в залу. Ставит на пол.

– Иди бестрепетно, – звучит повторное указание Терентия Осиповича.

Я даже не иду – взлетаю, возношусь чьим-то усилием на венский стул и читаю собравшимся стихотворение. Помнится, очень небольшое... Гром аплодисментов плюс тедди-бэр в подарок. Что же я читал им тогда? Счастливый, пробираюсь сквозь толпу поклонников, взглядом благодарю виновников моего успеха – кухарку и Терентия Осиповича, который укрепил меня словом.

– Я же говорил, – рука его скользит по двум концам бороды, – иди бестрепетно.

У меня в жизни так не всегда получалось.

Вторник

Гейгеру нравятся мои описания. Сказал, что моей рукой водит всемогущий бог деталей. Хороший образ: Гейгер умеет быть поэтичным.

– А может, до потери памяти я был писателем? – спрашиваю. – Или газетным репортером?

Пожимает плечами.

– Или кем-нибудь еще – художником, например. Ваши описания очень, я бы сказал, зримы.

– Так художником или писателем?

– Жизнеописателем. Мы ведь договорились, что в главном подсказок не будет.

– И для этого вы сократили персонал до двух человек?

– Да, чтобы никто не проболтался. Осталась пара самых надежных.

Смеется.

После обеда Гейгер ушел. Я видел его в коридоре, когда входила Валентина, – в пальто, с шапкою в руках. Слышал его затухающие шаги, сначала на этаже, затем по лестнице. Два дня я не просил Валентину лечь рядом со мной, хотя и мечтал об этом. Несмотря на разрешение Гейгера (или вопреки ему?). А сейчас – попросил.

И вот она уже рядом, ее ладонь в моей ладони. Прядь ее волос щекочет мое ухо. Мне было бы тяжело от мысли, что нас могут застать за *этим*. За чем-то другим, предосудительным, быть может, даже неприличным, – не страшно, поскольку неприличное – первое, чего можно было бы ожидать, а вот за *этим*. . . Тут ведь так тонко всё, так трепетно и необъяснимо, и не покидает чувство, что это уже когда-то было. Спрашиваю у Валентины, было ли с ней уже такое, есть ли у нее на сей счет какие-то размытые воспоминания, не воспоминания даже – догадки. Нет, отвечает, не было, вообще ничего такого даже не было, откуда взяться воспоминаниям?

Так ведь было – у меня, ну не придумал же я это, в самом деле. Мы вот так же неподвижно лежали на кровати, рука в руке, висок к виску. Я тогда не мог сглотнуть слюну – боялся, что она услышит звук глотания, нарочно кашлял, чтобы оправдать этот звук – такими нематериальными были наши отношения. Или чтобы там хрустнуло в суставе – тоже боялся, потому что сразу разрушилась бы вся воздушность, вся хрупкость наших отношений. В них не было ничего телесного. Мне хватало ее запястья, ее мизинца, ногтя на мизинце – маленького, как чешуйка перламутра, гладкого и розового. Я пишу, и у меня дрожит рука. Да, от слабости, от температуры, но и от великого напряжения чувств. И оттого еще, что всё остальное память от меня скрывает. Что это было?

– Что это было? – кричу, обливаясь слезами, сестре Валентине. – Почему счастье жизни моей вспоминается мне не полностью?

Прохладными губами Валентина прижимается к моему лбу.

– Может, тогда оно перестало бы быть счастьем.

Может. Но чтобы понять это, нужно всё вспомнить.

Среда

Вспоминаю. Трамвайные рельсы на замерзшей реке. Электрический трамвайчик, пробывающийся от одного берега к другому, лавки вдоль окон. Взгляд вагоновожатого буравит метель и сумерки, но другого берега всё еще не видно. Путь едва освещают фонари, в их мерцающем свете каждая неровность на льду кажется едущим трещиной и зиянием. Вагоновожатый сосредоточен, он последний, кто потеряет надежду. Кондуктор тоже крепок духом, но не забывает взбадривать себя глотками из фляжки, ибо мороз и лунный этот пейзаж обескуражат любого, кондуктор же должен оставаться бодрым. Продает билеты по пять копеек, отрывает их заледеневшими пальцами. Под ним десять саженей воды, по бокам метель, но хрупкий его ковчег, желтый огонек на льду, стремится к своей цели – огромному, теряющемуся во мраке шпилью. Я узнаю этот шпиль и эту реку. Теперь я знаю, в каком городе жил.

Четверг

Я ведь любил Петербург бесконечно. Возвращаясь из других мест, испытывал острое счастье. Его гармония противостояла в моих глазах хаосу, который пугал и расстраивал меня с детства. Я сейчас не могу как следует восстановить событий моей жизни, помню лишь, что, когда меня захлестывали волны этого хаоса, спасала мысль о Петербурге – острове, о котором они разбиваются. . .

Валентина сделала мне сейчас укол в мягкое место. Какой-то витамин. Витамины болезненны, эти шприцы почему-то гораздо более неприятны, чем шприцы с лекарством. Я потерял мысль. . .

Ах, да – гармония. Строгость. Вот мы с отцом и матерью – я в центре, они по бокам, держат меня за руки, идем по Театральной улице от Фонтанки к Александринскому театру, прямо посередине улицы. Сами – воплощение симметрии, если угодно – гармонии. И вот идем мы, а отец говорит мне, что расстояние между домами равно высоте домов и длина улицы десятикратно превышает высоту домов. Театр нарастает, близится, страшит. Ускорение туч в небе. Да, вот что: улицу-то потом переименовали, как-то убого обозначили. Зачем?

А еще вспомнился пожар. Не сам пожар, а как ехали его тушить – по Невскому, ранней осенью, на исходе дня. Впереди на вороном коне – *скачок*. С трубой у рта, как ангел Апокалипсиса. *Скачок* трубит, готовя путь пожарному обозу, и все бросаются врассыпную. Извозчики хлещут лошадей, прижимают их к обочинам и замирают, стоя к пожарным вполоборота. И вот по бурлящему Невскому в образовавшейся пустоте мчится колесница, несущая огнеборцев. Спинами друг к другу они сидят на длинной лавке, в медных касках, и над ними развеваются знамя пожарной части. У знамени – брандмейстер, он звонит в колокол. В своем бесстрашии пожарные трагичны, на их лицах играют отблески пламени, которое где-то их ждет, которое где-то уж разгорелось, до поры невидимое.

На едущих слетают огненно-желтые листья из Екатерининского сада, где свой пожар. Мы с мамой стоим, прижавшись к чугунной решетке, и наблюдаем, как невесомость листьев передается обозу: он медленно отрывается от брусчатки и на небольшой высоте летит над Невским. За линейкой с пожарными проплывает пароконная повозка с ломami, катушками для шлангов и штурмовыми лестницами, за ней – другая повозка с паровым насосом (из котла – пар, из трубы – дым), за ней – медицинский фургон, чтобы спасти обожженных. Я плачу, и мама говорит, чтобы я не боялся, только ведь плачу я не от страха – от избытка чувств. От восхищения мужеством и великой славой этих людей, от того, что так величественно они проплывают мимо замершей толпы под колокольный звон.

Я очень хотел стать брандмейстером и всякий раз, видя пожарных, обращал к ним беззвучную просьбу принять меня в их ряды. Проезжая по Невскому на империале, неизменно представлял, что направляюсь на пожар. Держался торжественно и немного грустно, и не знал, как там всё еще сложится среди бушующего пламени, и ловил восторженные взгляды, и на приветствия толпы, слегка откинув голову набок, отвечал одними глазами. Судя по всему, пожарным я все-таки не стал, но сейчас, спустя время, я об этом не жалею.

Суббота

Весь день вчера проходил обследование. Странное какое-то впечатление... Нет, ни больно, ни даже неприятно мне не было. Удивили приборы – я таких никогда не видел. Я-то, конечно, не специалист по приборам, и всё, что я о них могу сказать, не более чем мое ощущение, но ощущение это необычное.

– Я долгое время был без сознания? – спросил я потом у сестры Валентины. – Настолько долгое, что успели появиться новые приборы?

Вместо ответа Валентина легла рядом со мной. Гладила меня по волосам.

Так гладила меня когда-то *Анастасия*. Надо же, всплыло вдруг имя. Не помню, кто она, почему меня гладила, но помню, что Анастасия. Пальцы ее путешествовали в моих волосах, иногда замирали в задумчивости. Скользили по щеке к уху, мягко ощупывали рельеф ушной раковины, и я слышал их неправдоподобно громкое шуршание. Случалось, Анастасия прижимала лоб к моему лбу и сплетала в одном завитке мою и свою пряди. Светлое с темным. Нас это ужасно заводило, мы были такими разными.

– О чем вы думаете? – спрашивает меня Валентина.

– Говори мне “ты”, ладно?

– О чем ты думаешь?

Да ни о чем. Мне просто не о чем думать – я ничего не помню. Вот и от Анастасии осталось только имя. Имя и запах ее пшеничных волос – его я тоже не забыл. А может, за впечатление, уцелевшее в памяти, я принимаю запах волос Валентины. Или так: запах волос Валентины (тоже – пшеничных) напоминает мне то, что когда-то делало меня счастливым.

Воскресенье

Гейгер принес мне “Робинзона Крузо”. Не в новом издании с упрощенной орфографией, а в дореволюционном: год 1906-й. Именно эту книгу я в детстве и читал – знал он об этом, что ли? Я бы узнал ее с закрытыми глазами – на ощупь, по весу. По запаху – как волосы Анастасии. В моих ноздрях навеки остался аромат типографской краски, исходивший от глянцевых листов этой книги. Он был ароматом странствий. Шелест этих листов был шелестом островных листьев, защищавших Робинзона от солнца, – огромных, ярко-зеленых, едва колышущихся. С хрустальными каплями по утрам. Я листал книгу и узнавал страницу за страницей. С каждой строкой воскресало всё, что сопровождало ее в моем ушедшем времени, – кашель бабушки, звон упавшего на кухне ножа и (оттуда же) запах жареного, дым отцовской папиросы. Судя по выходным данным книги, все отмеченные события состоялись не ранее 1906 года.

Понедельник

Человек сидит за столом. Виден в дверную щель: ссутулившись, режет колбасу ровными кружками, один за другим отправляет их в рот. Скорбная трапеза. Вздохнув, наливает в кружку водки, опрокидывает одним махом, чмокает. Время от времени смотрит в окно. Там листья, словно свинцовые, пикируют по диагонали вниз. Им бы плавно спускаться, но – ветер, он их влечет. А я наблюдаю за всем из коридора, где темно. Наблюдаю причем не у самой двери, а отступив, потому меня не видно. Мне интересно, что делает человек, не знающий, что за ним следят. А он ничего не делает, только отрезает колбасу кружок за кружком и грустно запивает водкой. Прежде чем взять кружку, вытирает пальцы о газету. Вот, надо же, ничего особенного, а врезалось в память. Где и когда это было?

Уже несколько дней моя температура не превышает 37,5. И чувствую себя лучше, слабость мало-помалу уходит. Иногда сижу на кровати – пока не устану, а устаю всё еще быстро. Была такая пытка: сажали человека на жердь или на узкую скамейку так, чтобы его ноги до полу не доставали. И нельзя спать, сутулиться даже нельзя. Руки на коленях. Заставляли сидеть день и ночь – пока ноги не опухали. Так это и называлось – отправить на жердочку. Какой у меня все-таки сумбур в голове...

Лучше так: вот мы в Лигове, в Полежаевском парке. Июнь месяц. Там речка Лиговка, небольшая совсем, но в парке широка, как озеро. У входа – экипажи, ландо в огромном количестве, и я спрашиваю у отца, съехался ли сюда весь город. Несколько мгновений отец взвешивает, *что* стоит за моим вопросом – простодушие или ирония. Отвечает осторожно: нет, не весь. Вопрос мой на самом деле светится радостью – я люблю большое скопление народа. Тогда еще люблю.

На траве – скатерти, самовары, патефоны. У нас нет патефона, и я смотрю, как крутят ручку сидящие рядом. Кто сидит – не помню, но до сих пор вижу, как вращается ручка. Через мгновение раздается музыка – хрипая, заикающаяся, и всё же музыка. Пение. Ящик, полный маленьких, простуженных, поющих, – как же я тогда хотел им обладать! Заботиться о нем, лелеять, ставить зимой у печи, но главное – заводить его с царственной небрежностью, как делают вещь давно привычную. Вращение ручки казалось мне простой и в то же время неочевидной причиной льющих звуков, универсальной отмычкой к прекрасному. Было в круговом движении руки что-то моцартовское, что-то от взмаха дирижерской палочки, оживляющего

немые инструменты и земными законами также не вполне объяснимого. Я, бывало, дирижировал наедине с собой, напевая услышанные мелодии, и неплохо у меня получалось. Если бы не мечта стать брандмейстером, то хотел бы я стать, конечно же, дирижером.

В тот июньский день мы видели и дирижера. С послушным его палочке оркестром он медленно удалялся от берега. Не парковый был оркестр, не духовой – симфонический. Стоял на плоту, непонятно как поместившись, и по воде растекалась его музыка. Вокруг плота плавали лодки, утки, слышны были то скрип уключин, то кряканье, но всё это легко вращалось в музыку и принималось дирижером в целом благосклонно. Окруженный музыкантами, дирижер был в то же время одинок: есть в этой профессии непостижимый трагизм. Он, может быть, выражен не так ярко, как у брандмейстера, поскольку не связан ни с огнем, ни с внешними обстоятельствами вообще, но внутренняя эта его природа жжет сердца тем сильнее.

Вторник

Четыре категории получавших продуктовые карточки:

Первая – рабочие. Это фунт хлеба в день. Вполне достаточно.

Вторая – совслужащие, четверть фунта хлеба на день.

Третья – неслужащие интеллигенты, всего восьмушка.

Четвертая – буржуи. Тоже восьмушка, только на два дня. И ни в чем себе не отказывай...

Спросил у Гейгера, в ходу ли сейчас продуктовые карточки. Он ответил, что уже отменили. Ну, слава Богу. Небольшое это удовольствие – отоваривать карточки, особенно на мыло и керосин.

Узнал, что открылся новый пункт выдачи на Васильевском острове, угол 8-й линии и Среднего. Поплелся я с Петроградской туда – о новых местах не все знают, там обычно очередь меньше. Ветер с залива и мелкий снег, уши жалит. Дали мне с собой бабушкин платок (а бабушки уж не было в живых), чтобы я надел его поверх фуражки, но я, дурак, постеснялся. И уже на Тучковом мосту меня чуть не сдуло. Достал я из портфеля платок и намотал на голову. И чего, спрашивается, стеснялся – такая метель, что ничего на расстоянии вытянутой руки не видно. А если даже и видно – кто бы меня в этом платке узнал? Но, подходя к 8-й линии, снял его все-таки.

Встал в очередь. Пелагея Васильевна мне говорит:

– Я Пелагея Васильевна, я в очереди перед вами, но хочу постоять в нише, где ветер меньше.

– Конечно, – отвечаю, – Пелагея Васильевна, стойте себе в нише, что же я могу вам еще сказать?

– А вы не уйдете из очереди? Если уйдете, зайдите ко мне сюда в нишу (показывает) и предупредите.

Я киваю, но она остается на месте.

– Я бы, – говорит, – постояла, но у меня повышенная температура. Не знаю, что от меня после этого стояния останется. А без керосина готовить не на чем.

Подходит Николай Кузьмич:

– Иди, Пелагея, я вместо тебя постою, да не волнуйся ты, ради Бога.

Она уступает ему свое место в очереди.

– За Николая Кузьмича я спокойна.

Все стоящие засыпаны снегом – шапки, плечи, ресницы. Некоторые бьют ногой о ногу. Из ниши выглядывает Пелагея, недоверчиво глядя на Николая Кузьмича. Тот замечает Пелагею и укоризненно качает головой.

– Спасибо тебе, Николай, – говорит она и скрывается в нише.

Первый час все шутят и говорят о том, как трудно жить без керосина. Керосина и дров. На исходе третьего часа подходит Скворцов, каким-то образом мне знакомый. Поддерживая общую беседу, Скворцов говорит, что 1919-й год – худший в его жизни.

– А сколько твоей жизни, – спрашивает кто-то из очереди, – лет девятнадцать всего и будет? Или двадцать? Что ты, вообще говоря, в этой жизни видел?

– Ну, во-первых...

Отвечая, Скворцов делает вид, что он полноправный член очереди и что стоит вместе со мной. Голос его ровен, но очередь ему не верит.

– Вот он, – говорит Николай Кузьмич, показывая на меня, – стоял здесь с самого начала, мы его помним. Пелагею Васильевну помним, вместо которой стою здесь я. (На мгновение из ниши показывается Пелагея.) Тебя же, прости, не помним.

Скворцов пожимает плечами, и с них слетает нападавший снег. Через мгновение Скворцов сливается с метелью. Уходит легко, без спора. Уходит из моей жизни навсегда, потому что больше я его, кажется, не видел.

Среда

На шкафу статуэтка Фемиды, ее подарили отцу в день окончания юридического факультета. Мне на нее еще грудному показывали, говоря: Фемида. Спрашивали потом, при гостях особенно: где Фемида? Я показывал. Не знал еще, кто такая Фемида, думал, что любая дребедень, стоящая на шкафу. Мне всё в Фемиде нравилось, кроме весов – они не качались. Лет до семи я это терпел, а потом попытался сделать весы подвижными, гнул их, стучал по ним молотком. Был уверен, что они должны качаться, думал, заело что-то. Весы, конечно, отломились.

Четверг

Сегодня после утреннего осмотра Гейгер остался в палате. Скользнул рукой по спинке венского стула.

– Вы как-то спрашивали у Валентины, долго ли были без сознания...

Уперся в спинку обеими руками и смотрел на меня. Я подтянул одеяло к подбородку.

– Это тоже тайна?

– Нет, почему же. Реабилитация ваша проходит успешно, и, я думаю, уже можно кое-что вам объяснить. Но только кое-что – так, чтобы не всё сразу.

Словно дождавшись этой фразы, в палату вошла Валентина с тремя чашечками на подносе. Я понял, что это кофе, едва она занесла ногу над порогом. Он благоухал. Хорошо сваренный кофе – когда же я пил его в последний раз? Мне помогли подняться, и через минуту все мы сидели – я на кровати, Гейгер с Валентиной – на стульях.

– Дело в том, – сказал Гейгер, – что вы действительно очень долго были без сознания, и в мире произошли изменения. Я вам буду понемногу о них рассказывать, а вы продолжите вспоминать всё, что было с вами. Наша с вами задача – чтобы эти два потока слились безболезненно.

Кофе оказался таким же, как его запах, может быть, даже чуточку лучше. Гейгер стал рассказывать о завоевании космоса. Мы с американцами, оказывается, уже давно летаем в космос. Что ж, имея в виду идеи Циолковского, этого следовало ожидать. (Чего мне не хватает в кофе, так это сахара. Спрашиваю, можно ли получить сахар. Гейгер колеблется, говорит, что не знает, как в моем организме поведет себя глюкоза.) Первым в космосе был русский, зато американцы побывали на Луне. Мало что знаю о космосе и о Луне, но, по-моему, делать там совершенно нечего.

– Люди побывали на дне самых глубоких морей, – продолжает Гейгер.

Киваю.

– В ваше время можно было подумать о чем-то подобном? – спрашивает Валентина.

– Да, – отвечаю, – кое-какие идеи на этот счет имелись уже тогда.

Рассказываю, что была на ярмарках такая игрушка – *австралийский житель*. В стеклянном баллончике с водой плавал маленький (стеклянный же) господин с выпученными глазами. Сверху на баллончик крепилась резиновая мембрана. Нажмешь на мембрану – австралийский житель, крутясь вокруг своей оси, идет ко дну. “Австралийский житель спускается на дно морское, ищет счастье людское!” – кричал продавец. Припадая на одну ногу и шаркая, продавец на удивление быстро перемещался по ярмарке, и голос его то стихал, то возникал вдруг где-то рядом. “Австралийский житель спускается...” Всех забавляло, что борцы за людское счастье выглядят столь необычно. Что они так подвижны. Русские жители, в отличие от австралийских, с такой скоростью крутиться, безусловно, не умели.

Рука Гейгера на плече Валентины. Пальцы как бы машинально теребят прядь ее волос. Показывают на меня. Театральным шепотом Гейгер произносит ей в самое ухо:

– Это ведь не только о покорении стихий, здесь бери выше – проблема счастья...

– Борьба за счастье вас, кажется, не особенно вдохновляет? – спрашивает меня Валентина.

– От нее, – говорю, – вообще-то, одни трагедии.

Валентина не делает попыток уйти от Гейгеровой руки. Смеется. Интересно, существуют между ними какие-то отношения? Очень уж по-хозяйски он с ней обращается.

Гейгер мне еще что-то из области техники рассказывал, но я не всё запомнил. Да, теперь пишут “шариковыми ручками” (внутри пера шарик) – так вот, это то, что Валентина несколько дней назад от меня прятала. Они хотели уберечь меня от потрясения. Скажу честно: меня это не потрясло.

Вечером у меня поднялась температура, и Валентина читала мне вслух “Робинзона Крузо”. Спросила, что именно прочесть, и я попросил читать то, что само откроется. Мне ведь всё равно, с какого места, я эту книгу, почитай, наизусть помню. Открылся рассказ о том, как Робинзон перевозит вещи с бывшего своего корабля. Из запасных мачт сооружает плот и, делая ходку за ходкой, доставляет на берег запасы провизии, плотничьи инструменты, парусину, канаты, ружья, порох и много чего другого. Плот качается под тяжестью спускаемых на него сундуков, и сердце читателя бьется, потому что всё у Робинзона – последнее, ничему нет замены. Родившее его время осталось где-то далеко, может быть, даже ушло навсегда. Он теперь в другом времени – с прежним опытом, прежними привычками, ему нужно либо их забыть, либо воссоздать весь утраченный мир, что очень непросто.

Думаю, что Гейгер с Валентиной ничто не связывает. Они общаются между собой непринужденно, но из этого еще ничего не следует. Врачебная такая манера.

Пятница

Снимали дачу в Сиверской. Приезжали по Варшавской железной дороге во втором классе, в клубах дыма и пара. Поезд шел около двух часов, останавливался четыре раза – в Александровской, в Гатчине, в Суйде и, конечно же, в нашей Сиверской. Это первые мои на свете названия, первые признаки обитаемого мира вне Петербурга. Я еще не подозревал о существовании Москвы, о Париже ничего не знал, а о Сиверской – знал. И станции по Варшавке объявлял с двух лет – так мне говорили родители.

Остановившись в Сиверской, паровоз тяжело выдыхал, и это был его окончательный выдох. В нем еще что-то клокотало, шипело что-то, но готовности следовать дальше уже не было: в этих звуках проявляла себя лишь невозможность мгновенно затихнуть. Так после бега храпит, восстанавливая дыхание, скаковая лошадь.

Из багажного вагона на телегу выгружались наши многочисленные пожитки – перины, гамаки, посуда, мячи, удочки. Мы ехали в легком экипаже, а телега медленно тащилась за нами. Переехав через Оредежь по мельничной плотине, останавливались. Наблюдали, как возница собирал сиверских мужиков, чтобы они подтолкнули телегу при подъеме на крутой берег. Точнее, не собирал, а выбирал – там, у плотины, в ожидании стояла целая толпа их, знавших, что с поезда поедут на телегах, которые нужно ведь будет подталкивать. Брали по двадцати копеек, дешевле не соглашались: этого им хватало на две бутылки пива, а меньше они не пили.

Оказавшись на перроне, я вдыхал несравненный сиверский воздух. Я, маленький, еще не умел выразить, в чем состояла его особенность (я и сейчас, наверное, этого не сумею), но уже тогда ясно понимал, что с воздухом Петербурга у него нет ничего общего. Что, может быть, это и не воздух даже, а нечто иноприродное – густое, ароматное, не столько вдыхаемое, сколько испиваемое.

И виды были другими, и краски, и звуки. Зелеными, шумящими. Коричневыми, бездонными, плещущимися. Переходящими солнечным днем в голубое. Был рев водопада на плотине, и дрожание металлических перил от падения воды, и радуга в брызгах. По одну сторону плотины – полнота и задумчивость, по другую – бурление и надрыв. И над всем этим – огненная охра обрыва, девонская, выражаясь научно, глина, на которую укладывались кирпичи тамошних печей.

Никто там эту глину девонской не называл. Красная глина, говорили, и клали кирпич за кирпичом. Мастерок был в красном, рабочая одежда в красном, в красном же и носы, которые очищали, прижав к ним красные пальцы. А я стоял у строящейся бани, в матросском костюмчике, четырехлетний, смотрел, как на глину опускались кирпичи, как печник мелодично постукивал по ним ручкой мастерка и шутил со мной, и я смеялся. Это постукивание было для меня самую сутью непростого печного дела, его бесспорной вершиной. Я просил у печника мастерок и стучал сам – не так умело, не так мелодично, но кое-какой звук всё же получался. И рукава мои были в девонской глине.

Дом над Оредежью. Река вьется внизу, а мы – наверху. Качаемся в гамаке, привязанном к двум соснам. Точнее, гамак раскачивает соседская девочка, она сидит на самом краю сетки, а я лежу рядом, глядя на нее. Мне лет семь, думаю, не более семи, но эти ритмичные движения уже тревожат меня. Мы – лодка на волнах, а река под нами то взмывает вверх, то исчезает, оборачиваясь верхушками сосен. При всяком подъеме меня касаются ее распущенные волосы, они скользят по моим глазам, щекам, губам, я же не отворачиваюсь, слежу за тем, как расширяется влажное пятно на ее платье между лопатками. Кладу на пятно ладонь, и она не сбрасывает ее, потому что ей, как и мне, это приятно, а когда ладонь моя сдвигается влево, я ощущаю, как бьется ее сердце. Часто и сильно. Это наша с ней маленькая влажная тайна и самая первая моя любовь.

Суббота

Дали мне сегодня новую микстуру – ужасно горькая. Пил ее и вспомнил, как впервые в жизни пил водку. Это было на Дне ангела Елизаветы, отмечавшемся в огромной квартире на Моховой. Помню залитую электрическим светом залу, экзотические растения в кадках. Не помню, кто такая Елизавета.

Ко мне подходит Скворцов. Глаза его блестят.

– Сегодня ночью бегу на германский фронт. Предлагаю по этому случаю дерябнуть. – Приподняв полу сюртука, показывает торчащее из кармана брюк горлышко бутылки. – Имеется “мерзавчик”.

Со Скворцовым я познакомился здесь же, у Елизаветы, полчаса назад. Отказать Скворцову трудно, потому что, если человек бежит на фронт, это, возможно, его последняя просьба.

Я соглашаюсь. И в то же время колеблюсь: мне стыдно признаться, что я еще никогда не пил водки. Сковорцов ведет меня на лестничную площадку и достает свою бутылку. Аккуратно прикрывает входную дверь. Прислонившись к двери спиной, надолго припадает к бутылке губами. Я не знаю, как именно пьется водка. Вижу лишь, что количество жидкости в бутылке не уменьшается, не идут даже пузырьки. Зато я явственно различаю плавающую в бутылке муть, и мне начинает казаться, что источник ее – рот пьющего. Со стоном бывшего Сковорцов отлипает от бутылки, которая мне представляется подозрительно полной.

– Мы – ровесники века, Иннокентий, а стало быть, за него в ответе. – Сковорцов стоит, как бы уже покачиваясь. – Потому я и бегу на войну, понимаешь? Пей, твой черед.

Ровесники века – тоже *фраза*. Из тех, что в жизни звучат много раз. Слушать Сковорцова мне смешно и немного противно. И пить после его губ противно, но отказаться не могу – подумает, что я боюсь пить водку. Я нерешительно беру бутылку.

– Недаром говорят: как водки выпить, – подбадривает меня Сковорцов. – Хлоп – полбутылки одним глотком!

Я делаю один глоток (гораздо меньше рекомендованного), и мне обжигает горло. Отодвигаю бутылку, чтобы перевести дух.

– Не вдыхай, пей дальше! – истерично кричит Сковорцов.

Делаю еще один глоток, и в голове проносится мысль о слюнях Сковорцова. Тех слюнях, которые он, возможно, напустил в бутылку. Меня выворачивает наизнанку.

– Твоей ошибкой было то, что ты вдохнул, – говорит мне Сковорцов. – Не надо было вдыхать.

В его голосе чувствуется удовлетворение. Он протягивает мне свой носовой платок, чтобы я вытер рот, но я отвожу его руку. Я боюсь, что при взгляде на его платок меня вырвет еще раз.

Сковорцова я увидел через несколько дней на Невском. Он издали помахал мне рукой. Никуда он тогда не уехал.

Осенило сейчас: если мы *ровесники века*, то я – 1900 года рождения. Мысль естественная, но почему-то не сразу пришла мне в голову.

– Доктор, я родился в 1900 году? – спрашиваю у Гейгера.

– Да, – отвечает. – Вы – ровесник века.

М-да...

Понедельник

Куоккала. Каждый день после завтрака мы с Севой носимся по пляжу. Утренние вылеты вошли у нас в обыкновение. Я держу веревку и управляю змеем-аэропланом. Сева тоже держит веревку, но ниже, он там уже ничем не управляет, так что правильнее сказать, что за веревку он держится. Это потому, что всякий раз, когда вести машину берется Сева, она тут же пикирует вниз и бессильно ложится на водную гладь. Такие события, собственно, не выбиваются из игры, потому что катастрофы на заре воздухоплавания – тоже явление частое. Удивительно лишь то, что в нашем случае все они прочно связаны с моим кузеном.

Сева со мной одного возраста, но в наших отношениях почему-то считается младшим. Есть, конечно, люди, которых подчиненное положение не обижает, они к нему стремятся и принимают как естественное свое место в жизни. Не таков Сева – он от подчиненного положения страдает, но другого занять не может.

Вот, Сева, например, труслив. Ну, не труслив – нехорошо так говорить, – несмел. Боится незнакомых, силуэтов в окне, пчел, лягушек, ужей. Я говорю ему, что ужи не ядовиты, беру ужа пальцами чуть пониже головы и хочу передать Севе, но кузен мой сразу бледнеет, и губы его дрожат. Мне становится жаль Севу. Я выпускаю ужа, и тот уползает по дорожке.

Вечером у меня в палате сидел Гейгер. Он прочитал мои догадки насчет него и Валентины. Заверил меня, что эта запись замечательна по своей искренности. Он, Гейгер, всячески добивается полной открытости моего подсознания и просит не стесняться в выражении мыслей и чувств. Так-то. Уходя, сказал:

– Мои отношения с Валентиной не могут помешать вашим с ней отношениям.
Его отношения...

Четверг

Несколько дней пролежал не поднимаясь. Слабость невероятная. Не было сил писать. А сегодня в моем бедном мозгу всплыла такая фраза: “Вы не завершили построение формы, рано переходить к свето-теневой моделировке”.

Значит, я все-таки был художником? Но тогда об этом должна помнить не одна лишь голова (она очевидным образом не помнит), но и рука. Так ведь и рука тоже не помнит. Пытался что-то нарисовать – не получается.

Фраза зацепилась за какой-то крючок в сознании и раскачивалась на нем весь день. Вы не завершили построение формы... Видимо, не завершил. Значит, не художник, в лучшем случае – жизнеописатель. Что имел в виду Гейгер, называя меня так?

И что он имел в виду, говоря об их с Валентиной отношениях?

Пятница

Гейгер сообщил мне, что сейчас “Оредеж” мужского рода. И без мягкого знака.

– Что, – спрашиваю, – река пол сменила?

– Сейчас не то что реки – люди пол меняют. Но вы пишете как прежде – так, по-моему, красивее.

Сегодня он показал мне *компьютер*. Дорогая, видимо, игрушка. Нажмешь на одну кнопку – загорается маленький экран. Нажмешь на другую – высвечиваются фотографии. Как в “волшебном фонаре”.

Каменноостровский проспект у Троицкого моста, 1900-е годы. Трамвай идет. На фотографии цветов не различить, но я как сейчас вижу эти трамваи – красные и желтые. Конку почему-то красили в бурые цвета, а трамваи – в яркие. Помню их звон. Вагоновожатому звонил с задней площадки кондуктор, и это значило, что можно трогать. У вагоновожатого был и свой звонок – для экипажей и пешеходов. Педаль. Чтобы позвонить, он нажимал на педаль. Как же я в детстве мечтал на нее нажать! Следил за суровым лицом вагоновожатого, за его ногой – словно чужой, отдельной, словно на время привинченной к неподвижному его телу, неутомимо тянущейся к педали. Нога была обута в обычные ботинки с галошами, порой – дырявыми. Меня удивляло, что это не мешало ей взаимодействовать с таким изысканным предметом, как электрический звонок.

Экран затуманивается, и всплывает другая фотография. Дворник (1908). В тулупе, валенках... Это, наверное, младший дворник – они лед скоблили, носили по квартирам дрова, но был еще старший дворник, которому младшие подчинялись. Тот чуть ли не в костюме ходил.

А вот Сиверская, дорога от мельницы, начало века. Господи, ведь именно по этой дороге мы всякий раз поднимались! Там, на фотографии, замечен кто-то – уж не мы ли? В пятницу вечером ходили на станцию встречать отца после рабочей недели, а воскресным вечером провожали.

Главы питерских семейств, уезжавших на дачу, были, вообще говоря, двух видов – *дачные мужья* и *шампаньолики*. Дачные мужья с мая по сентябрь отказывались от городской квар-

тиры (снимать ее было довольно дорого) и после работы ежедневно ехали за город к семье. Что отнимало уйму времени и сил. Шампаньолики же, напротив, позволяли себе оставаться в городских квартирах, навещая семьи по выходным. Почему-то считалось, что среди недели шампаньолики встречаются друг с другом, играют в карты и пьют – естественно, шампанское. По своему достатку мой отец был, скорее, дачным мужем, но вел себя, как отъявленный шампаньолик. Всё дело было в том, что в мае он не любил заниматься перевозкой мебели на склад, а в сентябре – поисками квартиры и опять-таки – перевозкой мебели со склада. Мне могут возразить, что такие вещи не любили все. Пожалуй, что все и не любили. Но он – особенно.

Мы с матерью стояли на вечерней станции и ждали отца. Не мы одни, конечно. Множество сиверских дачников ждало своих отцов из города и приходило вечером к железной дороге. Некоторые – приезжали, оставляя экипажи на станционной площади. Поездов было мало, поэтому собирались все в одно и то же время – если ничего не путаю, в половине восьмого. Разговаривали друг с другом на перроне, прихлопывали друг на друге комаров. Стучали каблуками по деревянному настилу. Предвкушая встречу – смеялись. Мать говорила, что наступает вечерняя прохлада, доставала из сумки плотный китель и (моя попытка увернуться) надевала его на меня. Говорила, что просто я прохлады не замечаю. Я ее действительно не замечал.

Поезд был виден издалека и подходил медленно. Как только он появлялся над точкой слияния рельсов, встречавшие поворачивались к нему лицом. Заметив, уже не выпускали из виду. Они еще говорили друг с другом, еще интересовались сиверскими новостями, но по-настоящему внимание их было приковано к ползущей по рельсам личинке, к ее необъяснимому превращению в паровоз.

Я еще не знал, в каком из вагонов едет отец, он садился в разные вагоны, и мгновенно увидеть его среди прибывших было для меня делом чести. Отец выходил на перрон и целовал нас – сначала меня (подняв на руки), затем маму, – и появление его было несказанным моим счастьем. Счастье, счастье, говорил я про себя, увидев отца. Мы переходили через реку, поднимались по той самой дороге у мельницы, а тени наши неправдоподобно вытягивались под бесконечным летним солнцем. Счастье. Входили в дом, ужинали, рассматривали подарки (отец всегда приезжал с подарками), читали что-нибудь вслух на ночь, засыпали и видели сны.

Уже взрослым я часто видел отца во сне, прежде всего – отца летнего. Нос с горбинкой, пенсне, намечающаяся надо лбом залысина. В белой рубашке и светлых брюках с широким поясом. Карман для часов, серебряная цепочка. Может быть, напряженное высматривание отца на перроне и сделало его облик самым четким портретом моей памяти.

Движения его помню. Преувеличенное, несколько даже залихватское вытаскивание брегета за цепочку. Щелканье крышки, легкая гримаса – вроде как неудовлетворенность временем, вроде как бежит слишком быстро – смотрел на часы, когда скучал или сомневался. Когда стеснялся – тоже смотрел, спасительный был такой жест. А может, и не жест, может, что-то большее, связанное с отпущенным ему сроком, – предчувствие, что ли? Июльским вечером 1917 года (наш последний дачный год) мы так и не дождались его на станции. В тот день у Варшавского вокзала его убили пьяные матросы.

Позднее я мучил себя картиной того, как наш любимый белоснежный папа лежит на грязной панели, как вокруг него собираются зеваки, а он, стеснявшийся, презиравший, ненавидевший внимание улицы, даже не может от них уйти. Мама спрашивала в полиции, долго ли он так лежал (выяснилось – долго), спрашивала, за что его убили (ни за что), как будто, если бы за что-то, стало бы легче, потом кричала, что всю эту солдатню расстреляла бы своими руками, а полицейские молча на нее смотрели. За своим горем она не понимала, какая вершится катастрофа, что расстреливать матросов – всё равно что расстреливать морские волны или, допустим, молнию. Да и то, что мы переживали, было, как оказалось, не молнией – зарницей, молния была впереди. Только мы этого еще не знали.

Суббота

В связи с отцом думал о природе исторических бедствий – революций там, войн и прочего. Главный их ужас не в стрельбе. И даже не в голоде. Он в том, что освобождаются самые низменные человеческие страсти. То, что в человеке прежде подавлялось законами, выходит наружу. Потому что для многих существуют только внешние законы. А внутренних у них нет.

Воскресенье

У места своего спасения Робинзон Крузо поставил столб, на котором отмечал воскресенье. Робинзон боялся, что спутает их с будними днями и Воскресение Господне не будет им праздноваться в должный день. Каждую седьмую зарубку он делал длиннее, еще длиннее делал зарубки, обозначающие первое число каждого месяца. На столбе вырезал ножом крупную надпись: “Здесь я ступил на берег 30 сентября 1659 года”. Интересно, какой же все-таки сейчас год?

Забавная штука – *компьютер*. Оказывается, на нем можно печатать, как на пишущей машинке. И – исправлять. Главное, исправлять, как будто и не было ошибки – без нервозности, без утомительных подчисток на пяти экземплярах. Машинистки бы обзавидовались. В компьютере можно хранить тексты, с компьютера можно читать. Буду учиться печатать.

По совету Гейгера читал статью “Клонирование” – что-то в духе Герберта Уэллса. Я не очень понял там про “ядра” и “яйцеклетку” – что и куда пересаживали. Понравилось про овцу, выращенную якобы из овечьего вымени. Ее назвали в честь певицы Долли Партон, которая любила подчеркивать достоинства своего бюста. Гейгер считает, что описанное в статье (имею в виду выращивание овцы) – правда. Говорит, что знакомит меня с теми изменениями, которые произошли в мире, пока я был без сознания. Чтобы, стало быть, мое сознание подготовит.

Дал он мне еще почитать о *крионике* – статья не менее экзотическая. О том, как замораживают тела для последующего воскрешения. Есть что-то жутковатое в самой идее – независимо от того, существует ли такая заморозка в действительности. Если верить статье, замороженных людей довольно много, хотя живым никого пока не разморозили. В то же время какие-то опыты можно признать удачными. Куриный эмбрион несколько месяцев находился в жидком азоте, затем его разморозили, и сердце эмбриона забилося. До –196 градусов по Цельсию заморозили сердце крысы, когда же его разморозили – оно тоже забилося. Производили заморозку головного мозга кролика. После разморозки мозг кролика (а есть ли у кролика мозг?) сохранял биологическую активность. Наконец, до –2 градусов по Цельсию охладили африканского бабуина. В замороженном состоянии бабуин пребывал 55 минут, после чего был успешно реанимирован.

Понедельник

Анастасия. Удивительное имя – полногласное и нежное одновременно, три “а”, два “с”. Она сказала: “Меня зовут Анастасия”. Стояла надо мною, как Снежная королева, на новеньких коньках *Галифакс*, руки в муфте, посреди Юсуповского сада. Что она сначала произнесла? Всё помню: “Простите меня, пожалуйста”. Произнесла: “Вы не ушиблись?” А я – на четвереньках. Смотрю на ее коньки, на полы пальто и меховую оторочку, из-под которой едва-едва, на какой-нибудь вершок, ноги в рейтузах. В глазах моих круги от падения. Кровь из носа капает на лед, и это самое ужасное, самое стыдное.

Она наклоняется, нет, садится на корточки, достает из муфты платочек, прикладывает к моему носу: “Я вас сбита с ног, простите меня”. Пятно на льду расползается, я от стыда вожу по нему рукой, как бы стереть хочу, и ничего не получается. Оркестр продолжает играть, нас все объезжают, некоторые останавливаются. Платочек пахнет духами, весь в моей крови, а я всё не могу подняться, я первый раз на катке, и в моих глазах слёзы стыда. Она мне подает руку – теплую, из муфты, и я ощущаю ее всей ладонью. И вот одна ладонь моя на льду, другая в ее руке, и такая в этом противоположность, такое схождение теплого и ледяного, живого и неживого, человеческого и... Почему я сравнил ее со Снежной королевой? Ее красота тепла.

Она ведь меня и не толкала, это я от нее отшатнулся. Она быстро ездил, красиво – иногда одна, иногда в паре с другими гимназистками. Кажется, она была гимназисткой, кажется, да, кем же еще... Порою ездили по три, по четыре, скрестив друг с другом руки. До чего же красиво двигались их ноги – одновременно, широко, с режущим звуком. Я как надел коньки, целый час у кромки льда стоял, любовался катающимися, ею любовался. После сырой прохлады раздевалки, запаха деревянных лавок и пота – морозный ветер на катке, возгласы, смех, а главное – музыка. Когда оркестр заиграл “Хризантемы”, как же она танцевала, ах, как! С каким-то студентом, который, конечно, ей в подметки не годился, я на него старался не смотреть и видел только ее, и душа моя замирала.

С женщинами были связаны и другие (невольный каламбур) падения моей жизни. Вот я недавно описывал качание в гамаке. А запомнил-то я его потому, что сильно тогда разбился. Девочка так раскачала гамак, что я вылетел из него и ударился затылком о корень сосны. Тогда тоже кровь носом шла, и на затылке зашивали рану. Меня потом долго мучили головные боли...

Что после всего сказанного приходит в голову: в Юсуповском саду была не Анастасия. С нею, если ничего не путаю, мы познакомились в двадцать первом году. Уж какие в двадцать первом коньки! Почему я решил, что это была Анастасия?

Вторник

Сегодня я сделал хронологическое открытие – датировал мое настоящее. Датировал и – сам себе не верю.

Обычно Валентина приносит мне таблетки на подносе, а сегодня доставала их из коробки. Коробку забыла на моей тумбочке. Рассматривая необычную упаковку, прочитал: “Дата изготовления: 14.12.1997”. Подумал было, что опечатка, но увидел ниже: “Годен до 14.12.1999”. Неплохо.

Получалось, что сейчас либо девяносто восьмой, либо девяносто девятый годы – если, конечно, не используются просроченные лекарства. В какую такую аварию мог я попасть, чтобы оказаться в противоположном конце века? Что это – игра моего поврежденного сознания? Я был уверен, что у этих цифр есть какое-нибудь простое и разумное объяснение.

С трудом встал с койки и подошел к зеркалу у двери. Глубоко посаженные глаза, под ними круги. Глаза серы, круги сини. Складки от носа к уголкам губ – складки, не морщины. Считается, что это следы улыбок – в прежней жизни я, нужно думать, много улыбался. Темно-рус, ни одного седого волоса. Бледен. Бледен, но ведь не стар! В 1999 году у *ровесника века* должен быть совсем другой вид.

Вошел Гейгер.

– Доктор, сейчас девяносто девятый год? Или девяносто восьмой?

– Девяносто девятый, – отвечает. – 9 февраля.

Он совершенно спокоен. Короткий взгляд на лекарство:

– На упаковке прочитали? Я предложил Валентине оставить упаковку, такие подсказки приемлемы.

– Может быть, вы мне подскажите и всё остальное? Как я вообще сюда попал и что со мною было?

Улыбается:

– Подскажу обязательно, но говорить – не буду. Я ведь вам всё объяснял. Ваше сознание напоминает желудок после голодания, перегрузить его – значит убить. Как видите, я с вами откровенен в той степени, в какой это только возможно.

– Тогда скажите мне, что сейчас в России. Хотя бы в общих чертах.

Гейгер на минуту задумался.

– Диктатура сменилась хаосом. Воруют, как никогда прежде. У власти человек, злоупотребляющий алкоголем. Это – в общих чертах.

Да... Вот оно как, авиатор Платонов.

Пятница

Два дня мне не писалось, думал о сказанном Гейгером. И о девятисто девятом годе своем. Ничего не придумал, потому что в голове не укладывается. Вот, кажется, понял, принял, успокоился, а потом как бы очнулся, и снова – голова кругом. Прав Гейгер: если я еще что-нибудь новое сейчас узнаю, то, видимо, сойду с ума. Лучше думать о прошлом.

Была в Сиверской длинная такая Церковная улица, шла от мельницы, мимо церкви Петра и Павла, до дальнего мостика через реку. Поднималась от Оредежи и спускалась к ней же, сделавшей крюк. По этой дороге маршировал наш отряд. Небольшой был отряд, но вполне боевой и отлично экипированный. Впереди – знамя с двуглавым орлом, за ним – горнист с барабанщиком, а уж следом сам отряд. Большая часть дороги была ровной, на ней хорошо получалось чеканить шаг. Знамя развевалось, горнист трубил, а барабанщик, соответственно, барабанил. Так вот: этим барабанщиком был я. Для сиверских маршей папа купил мне барабан – настоящий, обтянутый кожей. В отличие от игрушечного, он издавал протяжный, звенящий и в то же время глубокий звук. И так хорошо, так сладко мне тогда барабанилось: трам-тарарам, трам-тарарам, трам-тарарам-пам, трам-пам-пам.

Заслышав нас, к заборам своих дач подходили отставные генералы. Они отдавали нам честь. На этот случай у генералов имелись выцветшие фуражки с кокардами, к которым они прикладывали руку. Всё, что ниже – стеганные халаты, вязанные жилеты и прочее невоенное имущество, – скрывалось за забором. Генералы долго смотрели нам вслед, потому что перед ними проходила их молодость. В их глазах стояли слёзы.

Куда мы шли и зачем? Сейчас я не могу на это ответить сколько-нибудь внятно, как не смог бы, видимо, ответить и тогда. Скорее всего, это было счастье совместного движения, своего рода торжество ритма. Не труба, не знамя, но барабан сделал нашу маленькую стаю отрядом, он придал нашему шествию нечто такое, что отрывало идущих от земли. Барабан отзывался в груди, в самом, казалось, сердце, и мощь его завораживала. Он входил в наши уши, ноздри, поры с теплым июльским ветром и шумом сосен. Оказавшись в Сиверской годы спустя (поздней осенью, совершенно случайно), я различил в дожде его дальнюю дробь.

Суббота

Да, с Анастасией мы познакомились в двадцать первом году. Конечно же, не на катке. В доме на углу Большого проспекта и Зверинской, куда нас с мамой поселил Петросовет. Нам дали комнату в квартире, подвергшейся *уплотнению*. Уплотняли профессора Духовной академии Сергея Никифоровича Воронина и его дочь Анастасию. Анастасию, стало быть, Сергеевну. Просто Анастасию, но никогда – Настю. Не знаю, отчего я называл ее именно так, она

ведь была младше меня на шесть лет. Может быть, мне очень нравилось ее полное имя, и я всякий раз произносил с наслаждением: Анастасия.

Гейгер признался мне, что понятия не имеет, как в моем случае возвращается память. Повторяя течение событий в самой жизни? Или, что скорее всего, без всякого порядка, вперемешку? А быть может – основываясь на том, радостны были пережитые события или печальны? Сознанию свойственно отодвигать самое плохое в дальние углы памяти, и, когда память обрушивается, плохое, наверное, гибнет первым. А радостное остается. Вот про Анастасию я помнил с той минуты, как очнулся. Не мог еще сказать, кто она и кем была в моей жизни, но – помнил ведь. И оттого лишь, что произносил ее имя, становилось легко.

В квартире Ворониным оставили только залу. Двери в две смежные комнаты – слева и справа – были при нас заколочены досками. Бурыми нестрогаными досками поверх изящных дверей “модерн”. Заколачивал дворник, а отец и дочь Воронины молча на него смотрели. Мы с мамой тоже стояли и смотрели. Звук дворницкого молотка был то густ и ладен, то на удивление тонок. Дворник был пьян. Он не попадал по шляпкам гвоздей и, когда гвозди загибались, ожесточенно впечатывал их, лежащих, в древесину. Моя кровать впоследствии стояла у заколоченной двери, и по вечерам я рассматривал утопленные гвозди. Они меня сильно раздражали. Мне хотелось заменить эти доски какими-то другими, но я так и не решился их отодрать. Страшно было увидеть под ними изувеченную дверь.

В комнату справа от залы поселили Николая Ивановича Зарецкого, сотрудника колбасной фабрики. Он был человеком тихим, но малоприветным. Мылся редко, и от него исходил стойкий несвежий дух. Носки, чтобы не изнашивались, лишний раз тоже не стирал, зато штопал их довольно часто, выходя для этого на кухню. На кухне Николай Иванович в основном, стало быть, штопал носки и беседовал, а питался исключительно в своей комнате – колбасой, принесенной с фабрики.

В комнату слева поселили нас с мамой. Из наших окон была видна часть Большого проспекта и часть Зверинской – улицы, ведущей к петровскому еще зверинцу. В первый вечер мы с мамой стояли у больших окон, глядя на соединение двух улиц. Это было как соединение двух рек – с проплывающими по панелям прохожими, с неторопливым скольжением экипажей и авто. Зрелище завораживало, не оторваться было. Дул сильный октябрьский ветер, и под его давлением стекла пружинили: их напряженность была зримой. Мне всё казалось, что нажми чуть сильнее ветер – стёкла не выдержат, брызнут неосвежающим дождем на подоконник, на пол, на головы прохожих.

Постепенно темнело, а мы всё стояли и смотрели, как на проезжей части включались фары, превращая ехавших в поток светляков. Я думал о том, что в наших окнах теперь новый вид, что у нас теперь соседи. Соседка... То, чего я прежде страшился (никогда ведь не жил с соседями), обернулось неожиданной радостью, хотя я еще не признавался себе в том, что это радость. Просто мысль о том, что увиденная мной Анастасия будет теперь всегда где-то рядом, разливалась по телу осязаемым физическим теплом. На первом этаже дома напротив светилась витрина книжного магазина “Жизнь”.

Воскресенье

Стоит храм, а службы нет. И колокола оплавленные лежат – упали с перегоревших балок. Посередине большой колокол с глубокой трещиной. К нему припаялся язык малого колокола, а самого малого – нет. Удивляешься: не убежал же он. Но, видя рядом бесформенный слиток, понимаешь – вот он, малый колокол. И думаешь: сегодня, значит, воскресный день, жалко, что нет службы, и про себя читаешь “Отче наш”. На стенах храма следы от пожара. Горело-то не только что, а запах гари всё стоит. У лестницы, ведущей в храм, гора сгоревших книг – скорее всего, от них и запах.

Украдкой подойдешь к куче – некоторые книги почти не тронуты огнем, всё читается: “Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание...” А с живыми что делать, которым порою хуже, чем усопшим? У которых болезнь и печаль? И воздыхание? Смотришь – на престольное Евангелие. Полусторевшее. Проведешь пальцами по пеплу, а потом незаметно коснешься губ, будто приложился.

– Платонов, отчего губы черные?

Кто спрашивает? И что ему до моих губ?

– Так, почернели отчего-то. От жизни, возможно.

Оглядываюсь вокруг – такая Божья красота. Море, солнце садится. А если подняться на гору, то видно, что это остров. Часть суши, окруженная небом. Волн нет, поверхность как полированная, не шелохнется, водная именно что гладь. И дорожка на воде, ангелы летают. Страшно оттого, что, как только дорожка уйдет, всё погрузится во мрак, и *что* на месте этой красоты начнется, никому не известно. И кто там будет вместо ангелов летать, тоже неизвестно. Вот потому, должно быть, Робинзону днем было еще куда ни шло, а на закате – по-настоящему страшно. Страшна сама мысль о погружении во мрак, она сжимает сердце, как тиски, и ты из всех сил сдерживаешься, чтобы не закричать.

Услышав мой крик, в палату вбежала сестра Валентина. Обняла меня и поцеловала в лоб. Достав из кармана платок, вытерла мои слезы. Прижала другой платок к моему носу.

– Сморкайтесь!

– Мы же на “ты”...

– Тогда сморкайся!

Я сморкнулся. Невозможно ведь сморкаться в чью-то руку, будучи с человеком на “вы”.

– Приснилось что-то страшное? – Валентина смотрит на меня, не мигая. – Приснилось, скажи?

– Приснилось. А может быть – вспомнилось.

– Что вспомнилось? Это же важно.

– Остров. Тяжелое ощущение.

– Какой остров? Название помнишь?

– Необитаемый. Не мучай меня. Ляг рядом.

Валентина ложится рядом и гладит меня по волосам.

– Может, тебе приснилось, что ты – Робизон Крузо? Такие случаи нередки. Когда у человека мало собственных жизненных впечатлений...

– Может, и приснилось. Молчи... Молись за меня и молчи.

Понедельник

Зарецкий по вечерам тихо пил водку и закусывал колбасой. Звук набрасываемого на петлю крючка, шорох расстилаемой газеты, бульканье огненной воды. Однажды пьяный Зарецкий рассказал мне, что проносит колбасу через проходную в кальсонах. Под рубахой опоясывается веревкой. К этой веревке спереди привязывает на нитке колбасу и засовывает в кальсоны.

– Если нащупают, – хихикнул Зарецкий, – скажу: писька. Я ведь не помногу выношу, только чтобы вечером покушать.

Так в точности и сказал – писька... Была ли она у самого Зарецкого? Есть люди, с которыми такие подробности не соединяются.

С тех пор как я узнал о способе проноса колбасы, боялся, что он пригласит меня на ужин. Нальет водки, предложит закусить колбасой – тут-то меня и вырвет... Напрасно я боялся: эти пиры Валтасара проходили в одиночку. Зарецкий вообще никогда никого не приглашал. И хотя в разговорах с женщинами (я слышал это не раз) голос его неизменно теплел, к себе в комнату

он не приглашал даже их. Орган, который Зарецкий так удачно имитировал на проходной, был ему по большому счету без надобности.

Помню скорбную фигуру Зарецкого на кухне, у примуса, с одному ему присущим запахом – смесью водки, керосина, колбасы и немытого тела. В едва мерцающем свете электрической лампочки. Мне казалось, что в присутствии этого человека она просто не может гореть ярче, но – так она горела и без него. Иногда после многократного мигания совершенно гасла, и в кухне оставалось лишь ничего не освещающее пламя горелки. Когда через какое-то время лампочка загоралась, у примуса вновь обнаруживался Зарецкий. Рука на вентиле.

Открывал вентиль чуть-чуть, отчего всё, что стояло на огне, закипало очень медленно. Так он пытался сэкономить керосин. А может быть, просто искал повода подольше задержаться на кухне. Да, он ни с кем не сходил, но какое-то общение требовалось, по-видимому, даже ему. Можно было бы сказать, что Зарецкий одинок, если бы это слово передавало происходящее с нашим соседом. Одинок ли в стволе древесный червь? А ведь было в нем что-то от червя. Гибкость, мягкость. Способность принимать температуру окружающей среды.

Понедельник

Сегодня Гейгер мне говорит:

– В 1941–1945 годах была Великая Отечественная война, иначе – Вторая мировая.

– В мое время, – отвечаю, – Великой называлась та война, что началась в 1914-м.

– Вот-вот, – кивает Гейгер, – сейчас она называется Первой мировой.

Долго рассказывал мне о Великой Отечественной войне. Не верится... Не верится. Хотя – почему, собственно?

Вторник

Запах цветов в Сиверской. Их выращивали на многих дачах. Снимая дачу, городские особо оговаривали наличие клумбы, и цветы благодарно благоухали. По вечерам, когда стихало малейшее дуновение ветра, воздух превращался в нектар. Его можно было пить – что мы и делали, сидя на открытой веранде, любуясь пронзительным закатом (ближе к концу лета – в полумраке, со свечой).

Дачники любили хризантемы – особенно после того, как Анастасия Вяльцева спела о них романс. Пела здесь же, в Сиверской, в усадьбе барона Фредерикса, а я стоял на другом берегу Оредежи и слушал ее голос. Этот голос свободно летел по воде, сопровождаемый огнями усадьбы, я же на своем берегу ловил каждую ноту. Приходил в отчаяние, когда налетевший ветер шумел листвой, дрожал от ночного холода и переполнявших меня новых чувств.

В этот год мы купили патефон и слушали Вяльцеву с утра до вечера, и почти все дачники слушали. Вяльцева же, сиверская дачница, прогуливалась мимо чужих дач и слушала сама себя. Иногда подпевала. И хризантемы были увядшими, и в фамилии певицы слышалось увядание – как-то так в ее пении всё вместе сходилось, что редко кто не плакал. Пронзительное было пение.

Об увядании. Привез папа из города астраханский арбуз. Помыли его – полосатый, блестящий, с хвостиком. Щелкали пальцами по поверхности – донг! донг! – густой звук, упругий. Настоящий. Не имелось среди нас специалистов по арбузам, но было очевидно: не может так плохой арбуз звучать. Папа разрезал его на две части – и точно: красный, исходит соком, и пахнет от него концом лета. Потом от каждой из половин отрезал сверкающие на солнце полу-кружия.

Когда мы арбуз съели, остались ровные зеленые корки, очень красивые. Я не дал их выбросить и положил под крыльцо, чтобы ими впоследствии любоваться. На следующий день

они потеряли свой глянец, а еще через пару дней сморщились. Я все-таки не давал их бросить в ведро, потому что помнил их красоту, они еще лежали под крыльцом какое-то время. Облепленные мухами. Я понял тогда: красота вянет очень быстро.

Помню, как на Большом проспекте мы ели арбуз с Анастасией, ее отцом и моей мамой. Это было в том странном овальном зале, который остался за Ворониными после “уплотнения” их квартиры. Тот, городской, арбуз так и остался загадкой – в Петрограде тогда хлеба не было, а тут вдруг арбуз... Его Воронину сунул в руки какой-то человек в шинели (тогда многие в шинелях ходили) прямо на улице. Подмигнул – вкушай, мол, и смешался с толпой. Воронин застенчиво улыбался, но ничего не мог нам объяснить.

Арбуз уже не так блестел, как тогда, в Сиверской, но ведь и время было другое. Мама следила за тем, как Воронин разрезал арбуз – он делал это не так ловко, как наш папа, нож то и дело уходил вбок. Я же следил за мамой, и она это знала, потому что мы вспоминали одно и то же. А еще я смотрел на Анастасию и думал, что вот, когда-нибудь она тоже увянет, что свежее, светящееся ее лицо сморщится, как арбузная корка. Может ли такое быть? И отвечал: не может.

Среда

Измерили мне сегодня температуру – 36,6. Впервые за всё время измерений. Гейгер сказал, что положительная динамика налицо. Это, правда, была утренняя температура, к вечеру дело немного ухудшилось – 37,1. Все-таки переползла ртуть за красную черту – на одно деление, но переползла. У меня на острове часто была высокая температура – особенно в лазарете.

Лазарет на горе. Лежим на плотно сдвинутых нарах. Постельного белья нет, голые доски. И мы голые – нательного белья тоже ведь ни у кого нет. Да и бесполезно: у многих тифозных понос, все нары им испачканы. Хочешь повернуться – обязательно рукой в дерьмо влезешь, засохшее или свежее. Чужое или свое. Рука скользит по доске. По нужде не у всех есть силы встать, так под себя и делают. А что скажешь – даже на ругань нет сил.

С горы если посмотреть, весь остров видно, а дальше – море, сколько хватает глаз, замерзшее, потому что месяц февраль. Нас, голых, с горы гоняли вниз в баню, там версты две. И после бани распаренных – обратно. А мороз минус двадцать, метель. Ветра, правда, нет, оттого что в лесу идем. Босые ноги на утоптанном снегу скользят, то один, то другой падает – не столько от скользкого снега, сколько от потери сил. При высокой температуре или жаре первые секунды даже приятно, а потом сразу замерзаешь до того, что не можешь двигаться. Некоторые, падая, уже не вставали, и их волочили за руку или за ногу. А они кричали. Только так и можно было понять, что живы. Когда они замолкали, был слышен скрип снега под ногами.

Конечно, многие из нас после этого умерли, человек имеет свои пределы. Играть роль еще и то, что никто уже не цеплялся за жизнь, а без этого трудно выжить: человек, считай, умирает тогда, когда его охватывает безразличие. Лежит рядом с тобой, бредит или говорит что-то разумное – и вдруг замолкает. Обернешься, увидишь его отвалившуюся челюсть и понимаешь: умер. И долго может так лежать, потому что никто сюда не войдет, а если и войдет, то вытаскивать его не бросится. Он лежит, а тебе даже спокойно – не вскрикивает, руками не размахивает.

Я позвал сестру Валентину – спокойным вроде бы голосом, жестом предложил сесть у моей кровати, спросил, как дела. А потом не выдержал и разрыдался. Превращаюсь в форменного истерика.

Четверг

В Сиверской было место, которое называлось *Жаркие страны*. Пляж на Оредежи под красным глиняным обрывом. В этих местах всё было красным, и, кстати, красный конь Петрова-Водкина родом именно отсюда. Другой конь был бы здесь просто невозможен. Это был цвет жарких стран – у Робинзона, я думаю, всё было таким. Ну, может быть, еще голубым и зеленым, но эти цвета, если разобраться, были и в Сиверской. Загорая в *Жарких странах*, думал о необитаемом острове. Ощущал щекой горячий песок. Чтобы уберечься от солнечных лучей, Робинзон ходил в одежде из козых шкур. Он мог бы ходить в этой одежде и по Сиверской, и никто бы не удивился – тамошние дачники и не так одевались.

Лежа однажды в *Жарких странах*, я поднял голову и не увидел никого. Вообще никого – ни на берегах Оредежи, ни в самой реке. Обязательно ведь кто-то раньше бывал. Я встал, взял сумку и двинулся вдоль берега. Перешел по мостику через реку – и там пусто. Вначале думал, что мне показалось, что люди просто прячутся или на время отошли по делам, но – их действительно не было. Я шел и с каждой минутой утверждался в том, что произошло нечто, освободившее землю от людей. По крайней мере, сиверскую землю.

Это было не просто ощущение – уверенность. Слишком многое указывало на полную безлюдность. Ветер в соснах шумел так, как никогда не позволял себе шуметь прежде. Оредежь сверкала ранее невиданными искрами. Во всём чувствовалось освобождение, в присутствии людей совершенно невозможное. Всё, что подавлялось ранее самым человеческим существованием, стремилось теперь к пределам своих возможностей: деревья – в зелени, небеса – в голубизне. В том, как петляла река, сквозила какая-то первозданность, да и само название *Оредежь* было первозданным. Такие имена не даются людьми, они создаются самой природой – как изогнутые коряги у воды, как источенные ветром скалы. Текла здесь Оредежь до людей, а теперь течет после них.

Река выбрасывала мне навстречу изгиб за изгибом, и всё не кончалась, и всё выше поднимались над ней красные утесы. Я шел, и чувство обладания этой прекрасной землей переполняло меня. Непредсказуемость Оредежи, свежесть ее ветра, колыханье трав у воды – всё это принадлежало мне одному. Я обходил свои владения, которые (стук дятла по сосне) прекрасно знали, что никто ими больше не владеет, что власть моя весьма условна. На всю реку и на все леса я был один, и ничто им с моей стороны не могло угрожать. Я же устраивал им смотр и проходил мимо них, как проходит командующий на параде – неестественно вывернув голову, временами останавливаясь и приветствуя. Что-то откликалось мне – махало ветками, свистело, каркало, а что-то и не откликалось, оставалось даже не замеченным мной. Но каждое мое наблюдение имело первостепенное значение, потому что теперь я был единственным, кто обладал полнотой этого знания.

Дорога поднималась вместе с берегом. Как-то незаметно река оказалась вне пределов видимости, на дне оврага. О том, что там, внизу, не одна лишь вода, но и земля, говорили верхушки деревьев, едва поднимавшиеся над обрывом. Я мог бы коснуться этих верхушек, если бы подошел к краю обрыва. Но я не подходил.

Над рекой всё еще стояли дома, только теперь они были безнадежно пусты. Эти дома уже обвивались выюном, прорастали травами и деревьями, становясь частью природы. Крыши их ветшали на глазах, прогибались и вот-вот готовы были провалиться. Незакрытые их двери то и дело скрипели на ветру. Сквозняки шевелили на окнах полуистлевшие занавески.

Я чувствовал, как внутри меня стал расти ужас, и это был ужас одиночества. Берег вновь стал опускаться. Внизу я заметил мостик через реку и бросился к нему. Под моими ногами гулко застучали доски. Они колебались и бились друг о друга, отдаваясь эхом. Их шум продолжался и тогда, когда я был уже на берегу, словно невидимая армия природы преследовала

меня как последнее не принадлежащее ей создание. Я перешел на бег (не от страха – от тоски) и помчался через лес к дому. Невыносимо было представить, что и дома меня никто не ждет. Большой мир мог прийти к концу, но это был бы еще не полный конец. Я все-таки не терял надежду, что мой малый, семейный мир устоял. Я бежал и плакал, и чувствовал, как мои слезы скатывались по щекам, как от плача сбивалось дыхание.

Когда я приблизился к дому, начинало темнеть. В светящемся электрическим светом окне я увидел папу. Он сидел в своей любимой позе, положив ногу на ногу, замкнув руки на затылке. Большими пальцами массировал шею. Мама наливала из самовара кипятки. Под огромным желтым абажуром всё это казалось ненастоящим. Казалось старой фотографией – оттого, может быть, что происходило беззвучно. Но отцовские пальцы на шее вполне явственно двигались, а кипятки из самовара тек, и от него поднимался пар. Не хватало лишь сказанного слова.

Мама подняла голову. Произнесла:

– Ну, вот ты и пришел, дружок.

Папа поймал мою руку и легко ее пожал.

Какое это было счастье. Такого счастья больше не помню.

Пятница

Когда мы въехали в воронинскую квартиру, Анастасии было пятнадцать лет. Всей квартирой подавали сведения для продуктовых карточек, и я узнал ее возраст. Едва ли не в первый день нашего вселения. Шесть лет разницы, подумал я, и сам удивился своей мысли. Эта мысль сопоставляла меня и Анастасию, а значит – связывала. Случайно ли я подумал о ней именно так? Не сопоставлял же я свой возраст с возрастом Зарецкого.

Почти сразу я стал узнавать Анастасию по шагам. Она шла мягко, ступала с пятки на носок. Воронин ходил шаркая. Зарецкий – словно на ходулях. О движении Анастасии я узнавал из своей комнаты по еле слышному скрипу половиц. По длине пути и шелканью электрического выключателя угадывал, куда она идет – в ванную, туалет или на кухню. Ванная и туалет были ближе, и выключатели там поворачивались с легким щелчком. Путь на кухню был самый длинный, а кухонный выключатель – громче других. При начале поворота раздавался жалобный звук пружины, при окончании – приглушенный выстрел. При звуке этого выстрела мне всякий раз хотелось выйти на кухню.

Иногда я все-таки выходил. Чаще всего – ночью, когда вся квартира уже спала. Анастасию, вставшую выпить воды, я заставал в ночной рубашке. В коммунальных квартирах каждый ест и пьет в своей комнате, но Воронины по старой привычке продолжали делать это на кухне. По привычке и ночная рубашка: в коммунальной жизни на нее обычно набрасывают халат.

Когда мы столкнулись в первый раз, Анастасия попросила прощения за свой вид: думала, все спят. Я ответил, что ничего страшного, – как-то излишне горячо ответил, и она бросила на меня удивленный взгляд. Когда мы сталкивались в дальнейшем, Анастасия была тоже в рубашке, но прощения больше не просила. Вероятно, тогда уже понимала, что сталкиваемся мы неслучайно. А еще понимала, что рубашка ей очень идет – шелковая, струящаяся с ее острых плеч.

Стояла спиной к кухонному шкафчику, упираясь ладонями в столешницу. Пальцами гладила бурое дерево (длинные пальцы). Так начинались наши ночные беседы, тише которых не было в моей жизни. Чтобы никого не разбудить, мы говорили шепотом. Шепот – особенный вид общения, я уж не говорю о ночном шепоте. Даже если говорить так о вещах обычных, они начинают выглядеть совершенно по-другому. А ведь мы говорили о необычных.

Глядя на нежную кожу Анастасии, я опять вспомнил об арбузных корках. Неожиданно для себя спросил ее:

- Вы не боитесь постареть?
Она не удивилась. Повела плечами.
– Я боюсь не старости... Смерти. Не быть страшно.
– А вы были бы готовы не умирать и только всё стареть, стареть?
– Не знаю. – Анастасия улыбнулась. – А почему, чтобы не умирать, нужно обязательно стареть?
– Ну, за всё ведь надо платить.
– Не за всё – за подарки не надо. Если бы был мне дан такой дар – не умирать без всяких условий...
– То – что?
– То жила бы! – она сказала это со смехом, почти прокричала. Испугалась. Прижала палец ко рту. – Сейчас все сбегутся...
Никто не сбежался.

Суббота

Три последних дня у меня держалась нормальная температура, и Гейгер решил устроить мне прогулку в больничном дворе. Одевали меня долго и тщательно. Но главное – необычно. В куртку из непонятного материала, которую Гейгер назвал *пуховиком*. Немного похожа на то, что надевают идущие к полюсу. Сапоги на застежке-молнии. Застежка появилась еще на моей памяти, но на сапоги ее не пришивали. Несколько раз пробовал застегнуть и расстегнуть – славно. Гейгер очень боится меня застудить или заразить. Это, по его словам, одна из причин того, что мои контакты с внешним миром предельно ограничены. Зато, если всё пойдет гладко, предполагается, что прогулка будет ежедневной.

Выйдя во двор, задохнулся от резкости воздуха. Слезы выступили. В больничных окнах увидел несколько пар глаз – смотрели на меня. Когда я поднял голову, спрятались. Значит, есть здесь все-таки люди.

Снег – хрустит. Из рта – пар. Снял перчатки и потер снегом лицо (Гейгер попросил перчатки надеть). Раскачал ветку клена, вызвал снегопад. Стоим – Гейгер, Валентина и я – все в снегу. Смеемся.

А я ведь не люблю снега. На острове снег, бывало, до полугода лежал. Ходишь по нему в тряпичных туфлях, подвязанных бечевкой (уж какие там сапоги на молнии!), и никто особенно не интересуется, застудишься ты или нет. А если первым в отряде идешь, по непротоптанному пути, то снегу по пояс. Пусть даже вчера здесь ходили, так ведь за ночь опять сугробы намело. Шагаешь как можно шире, чтобы в один шаг побольше расстояние преодолеть. Тьма крошечная, продвигаешься на ощупь, то и дело натыкаешься ногой на утонувшие в снегу пни. А в руках двуручная пила. Зацепишься ногой за пень, падаешь вместе с пилой и думаешь: присыпало бы меня, что ли, сверху – так, чтобы нашли только весной. А весной взятки гладки, что весной от меня останется?

Я видел тех, кого находили весной, – их называли подснежниками – с выклеванными глазами, отгрызенными ушами. Чтобы, думалось, даже мертвым им больше не видеть конвоя, не слышать его матерной ругани. Как-то раз мне пришлось тащить одного замерзшего до траншеи с трупами. Я держал его под руки (тогда я уже не был брезглив), а ноги его подпрыгивали на кочках. Тащил и немного ему завидовал – эта жизнь его уже не касается, а меня всё еще.

Тогда, случалось, замерзали в лесу. Не по созревшему решению – от усталости. Отходили чуть вбок, садились на землю без сил, и замерзнуть им было, может быть, проще, чем встать и продолжать работу. Садись, невыспавшиеся, передохнуть – и засыпали. И замерзали, поскольку сон смерти не помеха. Их быстро заносило снегом – попробуй потом найди.

Таких, в общем, не очень-то и искали: понимали, что они замерзли, а не сбежали, некуда было с острова бежать. Знали, что весной найдут.

Гейгер сказал, что, если эта прогулка пройдет хорошо, буду выходить каждый день. Глядя на него, думал о том, что он, должно быть, так же, как я, лежит с Валентиной. То есть не так же, ох не так же, догадываюсь как... Чем больница хороша для романов – в ней много коек.

Воскресенье

Сегодня в моей палате установили *телевизор*. Гейгер долго мне объяснял, как он устроен и как с ним обращаться. Я научился довольно быстро. Глядя, как я уверенно нажимаю на *пульт*, Гейгер, по-моему, был слегка разочарован. Он рассчитывал, что удивление мое будет велико. Да оно, собственно, и велико. Но синематограф удивлял меня в свое время сильнее – не говоря уже о том, что экран там неизмеримо больше. Хотя и без звука.

– Слово громоздкое, – сказал я Гейгеру о телевизоре.

– Говорите *телик*, – ответил он.

Есть в этом что-то телячье, я еще подумаю, стóит ли мне так говорить. Мы с Гейгером смотрели рассказ о новостях. Я почти ничего не понял – во многом потому, что думал об издаваемых телевизором звуках – словах, музыке, вое сирены. Да, со звуком – это совсем другое дело...

– Что такое дефолт? – спрашиваю.

– Прошлым летом деньги обесценились.

– И что же теперь делать?

– Меньше воровать, наверное. Только в России это невозможно.

Уже второй раз слышу от него про воровство. Но ведь всегда воровали – в тысяча девятьсот девяносто девятом, в тысяча восемьсот девяносто девятом, и во все прочие годы тоже. Почему же это его так задевает – потому что немец? Немцы, я думаю, в таких размерах этим не занимаются, им удивительно, что можно так беззаветно воровать. Нам тоже удивительно, но – ворует.

На экране телевизора дома. Нет в них прежней монументальности, легкие они какие-то, даже удивительно, как стоят. Стекла много, металла. Иногда архитектурной мысли не понять – нечто застекленное. Чувствую взгляд Гейгера.

– Нравится? – это он про дома.

– Я привык, что дома из кирпичей, – отвечаю. – К покатой крыше привык.

– Так ведь это Москву показывают, а в Питере – всё как вы любите. Когда начнете выходить на улицу – сами увидите.

Когда я начну выходить? – захотелось спросить.

Не спросил. Сделал вид, что увлечен телевизором.

Машины ездят забавные. Совсем не похожи на те, что были в мое время... Только теперь ведь и это время – мое, и Гейгер хочет, чтобы я в нем обживался. Следит за моей реакцией.

– Что вы чувствуете, – спрашивает, – оказавшись в новой, по сути, стране?

– Чувствую, что у нее новые сложности.

Улыбаюсь. Гейгер тоже улыбается – с долей удивления: ожидал чего-то другого.

– У всякого времени свои сложности. Их надо преодолевать.

– Или избегать.

Смотрит на меня внимательно. Произносит вполголоса:

– Вам-то не удалось...

Не удалось. Гейгер, по-моему, общественный человек. А я нет. Страна – не моя мера, и даже народ – не моя. Хотел сказать: человек – вот мера, но это звучит как *фраза*. Хотя...

Разве фразы не бывают истинными – особенно если они результат жизненного опыта? Бывают, конечно. Запишу, пусть Гейгер читает.

Ему, между прочим, кажется, что пишу я не совсем обычно. Что он имеет в виду, толком не поясняет. Так, легкий, говорит, несовременный акцент, но если не знать моей истории, то вроде как и незаметно. Ну и славно. А я, напротив, слышу, что они с Валентиной говорят не так, как говорили прежде мы. Появилась большая раскованность, а еще, может быть, хромота в интонации. Вполне, кстати, прелестная. Пытаюсь всё это перенять – у меня хорошее ухо.

Понедельник

Сегодня весь день смотрел телевизор. Переключал *каналы*. На одном поют, на другом танцуют, на третьем говорят. Говорят бойко, раньше так не умели – главное, скорости такой не развивали. Особенно *ведущий*: произносит нараспев, делит речь не на фразы, а на вдохи. Всё может, только не вдыхать не может, иначе бы говорил без пауз. Виртуоз. Человек-язык.

Вошла с обедом Валентина.

– Так сейчас танцуют? – показываю на экран.

– Ну да, – улыбается, – приблизительно так. Не нравится?

– Да нет, почему. Энергично...

Самое смешное, что так в любительском театре Сиверской изображали бесноватых. Их исцеляли, а они танцевали. Точнее, их танец указывал на необходимость исцеления. С одним из актеров мы были знакомы, иногда он заходил к нам пить кофе. На сцене, в багровой подсветке он был внушителен, даже пугающ, а за столом на нашей веранде казался тщедушным. Промакивал салфеткою выступавший на лбу пот. Время от времени убивал на себе комара и аккуратно укладывал его на ту же салфетку. Уходя, вручал трофеи маме. В нетеатральной своей жизни он служил счетоводом, и фамилия его была Печёнкин.

– Вам... прости – тебе, – Валентина наливает мне чай, – и песни современные, наверное, не понравятся.

Уже не понравились. Молчу, не хочу быть врагом всего нового.

– Прежние песни были мелодичными, – продолжает она, – а в нынешних главное – ритм. Но в этом ведь тоже что-то есть, а?

На днях обратил внимание, что она уже не выглядит как сестра милосердия. Ходит теперь с распущенными волосами, что ей очень идет. Впрочем, Валентине и первоначальный облик шел. Когда сообщил ей об этом, она ответила, что это Гейгер попросил ее *закосить* под сестру милосердия. Первые дни все очень боялись, что меня новая реальность сломает. Гейгер, оказывается, пенсне разыскивал, старый градусник и всё такое. А потом расслабились: я, по словам Валентины, держался молодцом и ни в какой оперетте не нуждался. На самом деле Валентина – аспирантка факультета психологии, пишет диссертацию.

Догадываюсь, на каком материале.

Вторник

В одну из родительских суббот мы столкнулись с Анастасией на Смоленском кладбище. Я навещал бабушку и отца, она – мать. Она уходила, а я только пришел. Как так сложилось, что мы оказались там без родных (обычно ведь в такие дни кладбище посещают всей семьей)? Не помню. Помню только, как обрадовался, увидев Анастасию. Сначала мы немного постояли, а потом пошли по аллее.

– Отчего умерла ваша мама? – спросил я.

– От чахотки. Она умирала долго. А мы с папой всё надеялись, что будет жить.

Я взял ее руку и крепко сжал – пальцы холодные. Почувствовал ответное пожатие. Вместе мы пошли на могилу отца и бабушки. Очистили ее от напавших сухих веток и вытерли тряпкой чугун ограды. Они умерли еще тогда, когда можно было заказать ограду. А сейчас я не смог купить даже рассады – всегда ведь продавалась у входа на кладбище. Решил было не выпалывать траву (пусть хоть что-нибудь растет), но Анастасия настояла на том, чтобы выколоть. Сказала, что трава – это зарастание памяти о человеке, что, пока есть кому с этой травой справиться, человек каким-то образом на земле еще присутствует. Не знаю. Я так не думал. Траву мы, конечно, выкопали.

Потом гуляли по кладбищу. На дальних аллеях опавшая листва уже не убиралась, мы вдыхали ее прелый запах. Зачерпнешь ярко-желтое ногой, а изнанка у него бурая. Воздух свежий до рези в носу. Да, у меня тогда на носу капелька висела – так Анастасия ее смахнула! Вытащила руку из муфты и запросто так смахнула. Засмеялась. Ужасно неловко, но в то же время... приятно. Это ведь почти... Ладно.

Да, чуть не забыл: тогда же мы встретили Зарецкого. Увидев нас, он сказал:

– А я вот мать поминаю.

Держал в руке розовый бумажный цветок. Из кармана заношенного пальто торчало горлышко бутылки. Бутылка входила туда полностью, но карман оттопыривался, и ее было видно. В другом, я уверен, лежала колбаса. Помню, меня искренне удивило, что у Зарецкого была когда-то мать. За руку, должно быть, его, маленького, водила. Еще раньше – носила в утробе, надо же. Мне проще было представить, что он возник путем почкования.

Я вот думаю – если это действительно осень была, то почему я хотел купить рассаду? Родительская суббота когда бывает? Трижды в Великий пост, на Радоницу, на Троицу. Есть Дмитриевская суббота в ноябре. Значит, мы были на ноябрьскую? Или всё происходило весной – засомневался сейчас. Воздух резкий – был, муфта – была, но почему мне подумалось, что осень?

Я уже не уверен, что мы ступали по листьям – скорее, по снегу. Бурому весеннему снегу, облезлomu и клочковатому. Издающему мокрый чавкающий звук. Проходя мимо Смоленской церкви, слышали журчанье – вода с крыши стекала в подставленные бочки. А со словами нашими изо рта выходил пар.

– Представляете, наши дети и внуки будут так же навещать нас здесь, – сказала Анастасия. – Будут ходить себе поверху, разговаривать. О всякой, между прочим, чепухе. А мы себе внизу будем лежать. Молчать.

Прозвучало так, будто это будут наши общие дети и внуки. И что вместе будем лежать и молчать. Я шел, думая над ее словами, и представлял себя лежащим под землей. И вот кто-то меня навещает, и уже заскучал, затосковал, находясь здесь. Мечтает, как из города мертвых вернется в город живых, и предвкушает свои живые радости на вечер. Я ведь тоже тогда представлял, как мы с Анастасией отправимся домой (пешком, вдоль речки Смоленки), будем на кухне пить горячий чай, и меня охватывало счастье. И бабушкино с отцом молчаливое лежание меня не останавливало, потому что они всегда радовались моим радостям. Хоть правдой было и то, что для них, любивших чай, за нашим столом не было места.

Сейчас еще раз всё взвесил: ну конечно же, стояла осень. И рассаду я покупать не собирался – потому ее и не продавали, что дело было осенью. Месяц нашего знакомства – октябрь. А встреча на кладбище произошла в ноябре – я помню, что мы почти еще не знали друг друга. На обратном пути в воротах кладбища нам встретился то ли нищий, то ли блаженный. Вручил мне и ей по желтому листу и назвал женихом и невестой. Анастасия покраснела. Я дал ему тысяч десять. Или сто – не помню, деньги тогда ничего не стоили. Я свой лист долго хранил.

Среда

– Почему, как вы думаете, произошел октябрьский переворот? – спросил меня Гейгер. – Вы ведь всё это видели.

Неожиданно. Выяснится потом, чего доброго, что Гейгер пишет исторические романы.

– В людях накопилось много зла... – подбираю слова для ответа. – Должен же был найтись этому выход.

– Любопытно как. Любопытно... Вы не связываете, значит, переворот с общественной ситуацией, с историческими предпосылками и прочими делами?

– А разве всеобщее помутнение – не историческая предпосылка?

Гейгер поставил перед моей кроватью стул и сел на него верхом.

– Но считается, что у помутнения семнадцатого года имелись свои причины – война там, обнищание народа, не знаю, что еще...

– Бывали времена гораздо хуже – и ничего, никаких помутнений.

Гейгер положил руки на спинку стула, подбородок на руки. Подбородок покрылся морщинами, уменьшился в размерах.

– Интересно вы мыслите. Как-то даже неисторически...

Гейгер смотрел на меня, не стесняясь, как смотрит задумавшийся. Пощипал себя за мочку уха. Большие у него уши, но пока не щиплет – не заметно: много на свете лишних жестов.

Когда он ушел, я смотрел телевизор – то, что здесь по-английски называют talk-show. Все друг друга перебивают. Интонации склочные и малокультурные, пошлость невыносимая. Неужели это мои новые современники?

Четверг

Наши ночные беседы с Анастасией продолжались. Мы сидели на табуретках – иногда друг против друга, но чаще рядом, прислонясь к стене или шкафчику. Когда сидели рядом, руки наши соприкасались, и я ощущал ее тепло. Что-то большее, чем тепло, – электричество. Мы оба его чувствовали. Я боялся, что между нами начнут проскакивать искры.

Внизу, за окном, были слышны поздние экипажи, их тихое движение успокаивало. Я научился различать прямое их следование по проспекту и проезд с поворотом на Зверинскую. Время от времени спокойствие ночи разрывал треск автомобилей, и мы боялись, что он разбудит спящих в квартире. Он и будил. Спящие, шаркая, добирались до туалета. Спустив с грохотом воду, останавливались в дверях кухни и подслеповато рассматривали нас. Ничего не говорили.

Как-то раз, когда у Анастасии была инфлюэнца, она осталась дома одна. Все ушли по делам – все, кроме меня, потому что не было у меня дел важнее Анастасии. Я стоял под ее дверью и слышал, как бьется мое сердце. Постучав, вошел. Анастасия лежала в постели. Когда подошел, увидел, что нос и веки припухли и покраснели. Как после слез.

– Не приближайтесь, – сказала простуженно, – заразитесь.

Приблизился. Осторожно сел на край кровати.

– И замечательно. Вдвоем ведь приятней болеть.

– Ничего приятного, – она кивнула на лежащую поверх одеяла книгу. – Я даже читать не могу.

Она хотела сесть, но я удержал – положил на ее плечо ладонь. Четыре пальца легли на ночную рубашку, а пятый, самый ловкий, оказался за границей ворота. Мизинец. Касался ее кожи. В него переместились все мои органы чувств, и я стал одним сплошным мизинцем.

– Лежите... – я нашел в себе силы отдернуть руку. – Хотите, я вам почитаю? В детстве, когда я болел, мне всегда читали.

Анастасия смотрела на меня с любопытством. Дышала ртом. Отложила свою книгу.

– Тогда почитайте мне то, что читали вам.

Я сходил в свою комнату и принес то, что читали мне. Читая, нащупал на одеяле пальцы Анастасии. Не отрывал глаз от книги. Спросил:

– Можно, я буду держать вашу руку? Через нее я буду вытягивать вашу болезнь.

В ответ почувствовал легкое пожатие. Снова взялся за чтение. Прочитывая фразу за фразой, думал о том, что, оказывается, еще никогда никому не читал вслух. На описании страха Робинзона заболеть я взглянул на Анастасию. Она лежала с закрытыми глазами, и было неясно, всё еще слушает она меня или спит.

Слушала. Погладила мою руку и сказала:

– Сидеть неудобно – устает спина. Ложитесь рядом поверх одеяла.

И помолчал:

– Пожалуйста...

Это *пожалуйста* меня едва не расплющило. В горле возник комок, и голос исчез. Заскрипела кровать, когда я сбрасывал тапки и ложился, – так могли бы скрипеть мои застывшие суставы. А потом голос вернулся, и я снова стал читать. Придвинувшись поближе, Анастасия положила мне руку на грудь. Шеей я чувствовал ее горячее дыхание. Когда дыхание стало ритмичным, я посмотрел на нее – она спала. Мне стало радостно и спокойно. Я долго лежал рядом, а встал лишь тогда, когда услышал повороты ключа в двери. Поцеловал Анастасию в горячий лоб и вышел.

Через пару дней я тоже заболел. Чувствуя, как с каждым часом воспаление расползается по горлу, испытывал счастье. У нас с Анастасией была одна болезнь на двоих. Теперь уже Анастасия приходила ко мне и, лежа рядом, читала мне вслух. Мы понимали, что происходящее между нами несколько вышло за рамки ухода за больным, но не говорили об этом и не пытались это назвать. Назовешь – спугнешь. Определишь – разрушишь. А нам хотелось сохранить.

Пятница

Однажды осенью ко мне на Петербургскую (тогда уже Петроградскую) сторону года за два до окончания гимназии пришел Сева. Лицо его было таинственным. Ему, вообще говоря, досталось очень выразительное лицо. В разное время оно бывало сосредоточенным, лукавым, понимающим, грустным, а в этот раз было не лицом даже – тайной. Не говоря ни слова, Сева сразу же прошел в мою комнату. Спросив, есть ли кто-то еще в квартире (никого не было), он все-таки закрыл за собою дверь на ключ. Этот ключ торчал в дверях много лет, и никто никогда им не пользовался. Я бы не удивился, если бы ключ не повернулся ввиду окончательной своей непригодности (прирос к дверям, рассыпался) или просто потому, что его поворачивал неудачник Сева. Но ключ повернулся.

Откинув голову набок, Сева картинно облокотился о стену. К животу он прижимал небольшой саквояж, двигавший боками в такт учащенному дыханию Севы. Восстановив дыхание, Сева открыл саквояж и достал из него пачку листов.

– Вот...

Он дал мне всю пачку, хотя содержание всех листов было одинаковым. Листы оказались листовками. Листовки призывали к немедленной смене власти.

– Где ты это взял?

– По дороге в гимназию ко мне подошел человек. Незнакомый. Попросил раздать гимназистам.

– А ты что же?

– Сказал, что раздам. Дело, понимаешь ли, идет о спасении Отечества. И в таких обстоятельствах я, конечно...

Помимо листовок в саквояже обнаружилась также бутылка вина. Сева с уверенным стуком поставил ее на стол.

– Бутылку тоже он тебе дал?

– Нет, бутылку я слямзил дома. Отметить начало революционной борьбы. Неси стаканы.

Давно он так не командовал. Я принес стаканы. Сева просто светился от осознания своей причастности к тайне. Когда мы выпили по стакану, я спросил у него, читал ли он роман “Бесы”. Сева заговорил со мной снисходительно и почему-то гнусаво:

– Знаешь, ну только вот не надо романов – ладно? Всё это в прошлом, сто лет назад. Сейчас объективная необходимость взять власть в свои...

– Хорошо, без романов. Попытка государственного переворота. Лет пять каторги, а то и десять. Прощай гимназия, прощай Петербург. Ты к этому готов?

Тут же выяснилось, что к этому мой кузен готов не был. В голос я не смеялся только потому, что мне стало его жалко. Розовощекий после вина Сева заметно побледнел, а губы его, как водится, задрожали:

– Просто мне казалось...

Я мог бы сказать, что на Севиной голове шевелились волосы – потому что их шевелил ветер из окна. Пожалуй, я так и скажу: то, что обычно вкладывается в это выражение, соответствовало его состоянию. Сева всё еще что-то сбивчиво говорил, а я смотрел на него и не слушал. Для чего, думалось мне, я его так напугал? Зачем перебил его полет – ведь кто бы, если говорить серьезно, его, гимназиста, тронул? Ну, выпороли бы в худшем случае, и то – вряд ли.

Сева так расстроился, что даже не допил вина. Оставил у меня и бутылку, и листовки с просьбой уничтожить. Я, конечно же, уничтожил, потому что ни алкоголь, ни перевороты меня не привлекали. Бутылку с недопитым вином вынес на помойку – получается, напрасно Сева ее слямзил. Листовки бросил в печь, и сокровища революционной мысли сгорели без следа. Содержание их совершенно ушло из памяти.

Что осталось – теплый сентябрьский день, шагнувший в мою комнату сквозь открытое окно. Открытое окно осенью – такая редкость. Трепет пальмы на резной (розы да лилии) подставке. Приземлившийся на письменном столе косой луч солнца. В фокусе – стопка книг. Легкий, без солнца незаметный налет пыли. На учебнике по истории – божья коровка.

Суббота

Лера Амфитеатрова спросила:

– Так ты хочешь меня?

Леру я видел впервые, но ответил утвердительно, ибо как же я мог еще ответить в пятнадцать лет? Больше всего меня поразило это *так* – оно претендовало быть итогом какого-то общения, но вот общения-то как раз и не было. Было несколько моих взглядов на молодую женщину, стоявшую в другом конце зала. Она их перехватила. В том, как она это сделала, было гораздо больше вызова, чем в самих взглядах. Хотел ли я ее? Не знаю. Может быть, и хотел. Но смотрел на нее потому, что она была необычна. По отважному разрезу ее платья я понял, что это – *эмансипантка*.

Об эмансипантках в нашем классе чего только не рассказывали, подробно описывая их внешний вид и легкость нравов (всё было Лерой предъявлено немедленно), так что определил я ее без труда. Она вела себя в полном соответствии с расхожим описанием – за исключением, пожалуй, коротко стриженных волос – и исполняла свою партию, что называется, на верхнем фа. Удивительно было то, что объектом ее внимания стал ничем не примечательный я. А

может, и не удивительно. Зачем являть свою прогрессивность тому, кто уже и так достаточно прогрессивен?

Она решительно взяла меня за руку и под звучащую в зале музыку повела к выходу. Мне казалось, что мы движемся в такт этой музыке, и это наше ритмичное движение парализовало остатки моей воли. Я пытаюсь сейчас вспомнить, что это был за зал, что за музыка – безуспешно. Да это и неважно, это сразу же исчезло. Помню потную, несмотря на свежий ветер улицы, Лерину ладонь. Блуждание по дворам-колодцам в поисках квартиры, предоставленной ей (она сказала – *нам*) подружкой. Ключ от квартиры Лера держала наготове в свободной руке, причем рука была вытянута в направлении нашего движения. И преждевременно вынутый ключ, и вытянутая рука придавали нашему движению стремительность, но еще в большей степени – театральность.

По щербатым ступеням мы взлетели на последний этаж. Тут Лера воспользовалась, наконец, своим ключом, и мы вошли в маленькую комнату. Из мебели там были лишь кровать, стол и стул. За стулом белела еще одна небольшая дверь, которая вела, видимо, на кухню. Лера подошла ко мне вплотную. Она была чуть выше меня, и ее влажное дыхание я втягивал носом. Наклонила голову. Коснулась моих губ губами. Провела по моим губам языком. Медленно повернулась ко мне спиной.

– А теперь расшнуруй платье...

На ее шее дрожали русые колечки. Я начал расшнуровывать.

– Ты что, в первый раз расшнуровываешь платье? И вообще *всё* – в первый раз?

– *Всё* в первый раз...

Лера глубоко вздохнула. Платье было расшнуровано и снято. За платьем последовали легкая блузка и нижняя юбка с воланами. Панталоны и сорочка. Корсет мне снова пришлось расшнуровывать (под Лерины опять-таки вздохи). Долго возился с застежками для чулок – в конце концов их, снимая корсет, отстегнула Лера. Села на стул. Я опустился на корточки и снял с ее ног чулки. С черными чулками съезжали мои руки по Лериной белой коже. Удивительно белой. Тогда женщины не загорали.

Стоит ли говорить, что, когда мы легли в постель, количество Лериных претензий и вздохов увеличилось. Лера не стеснялась направлять мои движения, обещая кому-то неведомому, что обучает мальчиков в последний раз. Мне показалось, что через какое-то время Лерины вздохи потеряли оттенок возмущения, но я в этом до конца не уверен. Сколько ей было лет? Думаю, восемнадцать, не более. Тогда же она казалась мне бесконечно взрослой.

Потом она курила, сидя на стуле. Нога на ногу, всё еще не одетая. Большим и указательным пальцами держала серебряный мундштук с папиросой, осторожно выпускала изо рта дым. Я, устроившись на кровати по-турецки, молча ее рассматривал. Я впервые видел голое женское тело. Показав на мой нателный крестик, Лера спросила:

– Ты веришь в Бога?

– Да.

– В эпоху аэропланов стыдно быть верующим. Вот я – дочь священника, а не верю. – Она затянулась дымом. – Чего молчишь?

– Разве аэропланы отменили смерть?

Лера засмеялась:

– Конечно!

Понедельник

Вспомнил. Всё вспомнил об авиаторе. Лет мне было 11–12, когда отец взял меня с собой на Комендантский аэродром – смотреть на полеты аэропланов. Еще за пару лет до того никакого Комендантского аэродрома не существовало – был один лишь Комендантский ипподром,

где и проходили авиационные митинги. С тех пор как рядом построили аэродром, митинги проходили уже на нем... Я знаю от Гейгера, что теперь это называется авиационным шоу, но мне больше нравятся митинги. По-моему, в нынешней жизни слишком много шоу. Говорю как человек, целую неделю смотревший *телик*.

Июль, солнце. Теплый ветер треплет кружево зонтов. Многие в соломенных шляпах, некоторые – в треугольных шапочках, сделанных из газеты. Мы приехали с самого утра, потому стоим в первом зрительском ряду. Можем рассмотреть не только аэропланы, но и авиаторов. В тот самый миг, когда я этих людей увидел, я твердо решил, что стану авиатором. Не бранд-мейстером, не дирижером – авиатором.

Мне хотелось вот так же стоять в окружении помощников и, глядя вдаль, медленно подносить к губам папиросу. Так же подкручивать торчащие кончики усов. Перед тем как двинуться к аэроплану, одной рукой застегивать на подбородке лямку шлема. Не спеша надевать очки-консервы. Но главная прелесть для меня заключалась даже не в этом. Меня завораживало само слово – авиатор. Его звучание соединяло в себе красоту полета и рев мотора, свободу и мощь. Это было прекрасное слово. Позднее появился “летчик”, которого будто бы придумал Хлебников. Слово неплохое, но какое-то куцее: есть в нем что-то от воробья. А авиатор – это большая красивая птица. Такой птицей хотел быть и я.

Авиатор Платонов. Это стало не то чтобы домашним именем, но время от времени меня так называли. И мне это нравилось.

Вторник

А ведь я и вправду мыслю неисторически – тут Гейгер, наверное, прав. Исторический взгляд делает всех заложниками великих общественных событий. Я же вижу дело иначе: ровно наоборот. Великие события растут в каждой отдельной личности. В особенности – великие потрясения.

Всё очень просто. В каждом человеке есть дерьмо. Когда твое дерьмо входит в резонанс с дерьмом других, начинаются революции, войны, фашизм, коммунизм... И этот резонанс не связан с уровнем жизни или формой правления. То есть связан, может быть, но как-то не напрямую. Что примечательно: добро в других душах отзывается совсем не с такой скоростью.

Среда

Целую неделю не писал. Приболел. Валентина считает, что я переохладился во время прогулки, советует теплее одеваться. Гейгер с ней не согласен. По его мнению, я так старательно описывал нашу с Анастасией болезнь, что и сам заболел. Гейгер недалек от истины.

А писать я не то чтобы не мог – не хотел, настроения не было. Настроения вообще. Гейгер сказал, что это естественно. Что первые недели я держался напряжением, шоковой собранностью, а чуть вошла жизнь в колею – расклеился. Да, соглашайся, расклеился. А мне как раз моя колея и не нравится. Какая-то кривая, прерывистая – где она столько лет петляла? И главное, куда ведет? В ту странную жизнь, которую вижу по телевизору? Эта жизнь меня пока не увлекает. Гейгера, как выяснилось, тоже.

А по поводу дневника он сказал, чтобы я не волновался – никто ведь не заставляет писать в него ежедневно. Не заставляет – и на том спасибо. И не буду. Вообще говоря, Гейгер мне всё больше нравится. Он скуп на эмоции, несколько даже суховат, но сквозь эту сухость чувствуется настоящее расположение.

Хуже, когда, наоборот, за внешней веселостью кроется крысиное. Был у меня знакомый, Алексей Константинович Аверьянов. Маленький, лысый, с большой головой, совершенный гриб. И размножался, видимо, спорами, потому что как же его такого можно представить с

женщиной? Хотя – нет, были и у него какие-то женщины, такие же, видимо, маленькие, как он сам. Час-другой с ним пообщаешься – душа-человек: мягкий, предупредительный, доброжелательный без переключений. Смеется самозабвенно, с громким раздельным ха-ха-ха, наклонив голову набок. А в один прекрасный день выясняется, что не мягкий он и не доброжелательный, а патологический завистник, и за спиной у тебя говорит такое...

Кем он был, этот Аверьянов? Чем занимался, откуда я его знал – ничего не помню. А вот грибное его свойство, червивость эта, в памяти осталось. Да, еще запомнились выпуклые линзы в его очках, отчего и глаза казались выпуклыми. Как это вдруг речь о нем зашла? Ах да, Гейгер – вот он не такой.

– Вспомнился тут мне некто Аверьянов, – говорю ему, – характер его, рост, даже очки. А что он значил в моей жизни – хоть убей, не помню. Отчего так устроены воспоминания? И что такое воспоминание с точки зрения науки?

– Воспоминание – это определенная комбинация нейронов, клеток головного мозга. Вступают в связь другие нейроны – вам предъясняется другое воспоминание.

– Иными словами, для того чтобы представлять Аверьянова в целом, мне не хватило нейронов? Как-то очень это механистично.

– Да вы не волнуйтесь, может быть, еще явится вам Аверьянов во всей красе. Может, и сами рады не будете. А кроме того, – Гейгер застегнул верхнюю пуговицу на моем халате, – было бы скучно, если бы воспоминания отражали жизнь зеркально. Они делают это выборочно, и это сближает их с искусством.

Мне, собственно, Аверьянов и не нужен. Того, что о нем запомнилось, вполне достаточно.

Четверг

Что меня в телевидении удивляет: они там всё время во что-то играют. Угадывают слова, мелодии, а еще, я читал, собираются отправить кого-то выживать на необитаемый остров. Все веселые, находчивые и довольно, я бы сказал, убогие. Получается, что у них в жизни не было острова, на котором нужно выжить. Им этого, что ли, не хватает?

Суббота

Всё думаю о природе воспоминаний. Неужели то, что хранит моя память, – это всего лишь комбинация нейронов в голове? Запах рождественской елки, стеклянный перезвон гирлянд на сквозняке – это нейроны? Треск бумажных полосок на оконной раме, когда ее открывают в апреле и квартира заполняется весенним воздухом. Заполняется негромкой беседой с улицы. Вечерним стуком каблучков по тротуару, гудением ночных насекомых в плафоне лампы. А наше с Анастасией трепетное чувство, о котором благодарно помню и помнить буду до конца жизни, – тоже нейроны? Шепот ее, сбивающийся от смеха на голос, аромат ее волос, когда она лежит рядом.

После дней болезни мы часто лежали рядом. Обычно днем, когда в квартире никого не было. Лежали обнявшись. Иногда – не касаясь друг друга. Разговаривали. Молчали. В одну из таких минут я шепнул ей в самое ухо:

– Хочу, чтобы вы стали моей женой.

Анастасия была смешлива, и я боялся, что она засмеется. Но она не засмеялась. Коротко ответила:

– И я хочу.

Тоже в ухо. Я почувствовал ее теплые губы.

Мы так и не перешли с ней на “ты”. Мне казалось, что целомудрие наших отношений не должно подвергаться никаким испытаниям, даже таким пустяковым, как “ты”. Анастасии оставалось менее года до совершеннолетия, и я дал себе слово совершеннолетия дожидаться.

– Вам ведь тяжело так... – сказала однажды Анастасия. – Без женщины.

– У меня есть женщина. Это вы.

Она покраснела.

– Пусть тогда я буду женщиной... во всём.

Я поцеловал ее в лоб.

– Я не хочу делать этого до венчания.

Самое острое чувство – неудовлетворенное, и я испытал его в полной мере. Никогда еще мое “вы” не было так чувственно. До сих пор ощущаю его жар на губах. Самый настоящий жар. Трудно поверить, что это достигается комбинацией нейронов.

Понедельник

Человек – не кошка, он не может приземлиться на четыре лапы всюду, куда бы его ни бросили. Для чего-то же он поставлен в определенное историческое время. Что происходит, когда он его теряет?

Вторник

Сегодня был необычный день – я впервые оказался в городе. После утренних процедур Гейгер спросил:

– Хотите прокатиться на машине?

Хотел ли я? После стольких недель сидения в палате? Я расплылся в дурацкой улыбке. Последний раз при таком же предложении я улыбался в детстве, когда каждая поездка казалась праздником. Но ведь и сейчас она была делом не рядовым. Мне предстояло ехать не в привычном с юности автомобиле, а в одном из обтекаемых аппаратов, которые до этого я видел только по телевизору. Главное же – заканчивалось мое вынужденное затворничество, и я окунался в новую жизнь.

Окунался – точное слово. Только окунешься, говорили мне на пляже родители, боясь простуды. А плавать не будешь. Не буду так не буду, окунуться тоже счастье. Опасаясь, что мой ослабленный организм сдастся первой же инфекции, Гейгер меня из автомобиля не выпускал. Изредка останавливался и разрешал опустить окно. Я нажимал на дверную кнопку, окно же с едва слышным гудением скользило вниз. Залюбуешься...

Так мы постояли перед Эрмитажем, Медным всадником и Исаакиевским собором. Никаких существенных перемен в сравнении с моим временем я не обнаружил. Ну, может быть, асфальт вместо брусчатки. Электрические столбы какие-то другие, не деревянные. Были на Васильевском острове – там тоже в целом порядок. Поехали на Петроградскую сторону.

На углу Большого и Зверинской остановились (припарковались, прокаркал Гейгер). Вышли из автомобиля. Там, где раньше был книжный магазин “Жизнь”, сейчас что-то некнижное. Что-то скорее гастрономическое. И дом по противоположной стороне Большого был этажа на два поменьше. Я это хорошо помню, потому что часто смотрел на него из окна, и вся его жизнь была передо мной как на ладони. Надстроили, значит.

К этому дому мы и направились. Тремя пальцами Гейгер нажал на кнопки возле ручки, и дверь открылась. Стали не торопясь подниматься. Лестница в плевках и окурках: плевки обычные, а окурков я таких не видел. Совершенно они необычного вида. У одной из дверей Гейгер звякнул ключами.

– Это квартира моих друзей, – сказал он почему-то шепотом. – Из нее отличный вид на ваш дом.

Мы вошли. Всё необычно – полы, мебель, лампы. То есть всё узнаваемо, и понятно, для чего что предназначено, а вместе с тем – удивительно. Окна смотрят на две стороны – на Большой проспект и во двор. Гейгер подвел меня к тому окну, что выходит на Большой. Я про себя удивился: зима в городе, а рамы не двойные, особенные какие-то, тонкие. При этом в квартире тепло.

Глядя на окна в бывшем моем доме, я вспоминал, как мы с Анастасией их утепляли. Острием ножа заталкивали в щели рам вату, а поверху заклеивали полосками бумаги. Клейстер варили. У меня потом от запаха клейстера всегда настроение поднималось. Вспоминалось чувство осеннего уюта. На улице ветер, холод, а у нас будет тепло. Принимая от Анастасии намазанную полоску, почувствовал щекою завиток ее волос. Поцеловал ее пальцы – отдернула руку. Сумасшедший, они же в клейстере... Слизнула клейстер с моих губ.

Гейгер вытащил из портфеля бинокль и дал мне. Ага, точно, вот мы с ней стоим, теперь всё стало видно. Она намазывает и подает, я клею. Тщательно разглаживаю каждую полоску по раме. Бумага мокрая, скользкая, под ней комки. Иногда полоска беззвучно рвется, и я аккуратно соединяю оборванные концы. Прижимаю их, не разглаживая. Филигранная работа. Это то, что должно было спасти нас зимой, но не спасло. Тепло из квартиры всё равно ушло.

Четверг

Это мое *вы* и Анастасия кажутся мне сейчас чем-то избыточным, даже забавным. Но тогда они были для меня чуть ли не порукой ее, Анастасии, неприкосновенности. До некоторой степени – символом моей аскезы, чем-то вроде рясы, в которой иноку, наверное, проще сопротивляться искушениям. Или, наоборот, сложнее.

Чувственное начало в наших отношениях, безусловно, присутствовало, но это была особого рода чувственность. Она не шла дальше взгляда, интонации, случайного прикосновения, и это придавало ей невероятную остроту. Лежа ночью в постели, я вспоминал наши дневные беседы. Ее и свои слова. Жесты. Толковал их и перетолковывал.

На заколоченной двери, у которой стояла моя кровать, даже в темноте мерцали загнутые гвозди. Я водил по ним пальцем. Думал о том, что по ту сторону двери находится ее кровать. Иногда слышал приглушенный скрип. Мы спали как бы в одной кровати, разделенной перегородкой. Пока, думалось, разделенной.

То, что мы так тщательно скрывали от всех, ни для кого в квартире, конечно же, не было тайной. Есть вещи, которые, находясь под одной крышей, скрыть невозможно. Даже Воронин, по-профессорски рассеянный, о чем-то несомненно догадывался. Он стал смотреть на меня, что называется, с новым вниманием, и это внимание было доброжелательным. Профессор то подбадривающе похлопывал меня по спине, то беспричинно улыбался. Однажды он подошел к нам с Анастасией и обнял. Такое объятие было равносильно благословию.

Последовавшие месяцы были освещены для меня дружбой с Анастасией и ее отцом. Почти каждый вечер мы собирались в их комнате и пили чай. Это был, собственно, не чай (чая тогда было не достать), а сушеные травы и ягоды, сохранившие аромат лета. Собранные Анастасией. Изредка – после настойчивых уговоров – приходила моя мама. Она стеснялась. Считала, что, живя в общем пространстве, очень важно соблюдать дистанцию. Правильно, мне кажется, считала.

Случалось, сидел еще, ага, Аверьянов – такой, каким мне недавно и вспоминался: склоненная на плечо голова, толстые линзы очков. Приходя, садился в кресло, тонул в нем. Говорил мало. Улыбался, но чаще смеялся. Громко смеялся – как бы от избыточной искренности. Он был сослуживцем Воронина по Духовной академии, тоже профессор. Увидел сейчас его в

кресле (сверчок из книжки-раскраски) и всё о нем вспомнил. Как сказал бы Гейгер, связь нейронов восстановилась. Когда в ту зиму арестовали Воронина, основные показания по контрреволюционной деятельности дал на него Аверьянов. Арестовали-то по доносу Зарецкого, но дело построили на показаниях Аверьянова. Зарецкий слова *контрреволюционный* не выговаривал.

Суббота

Вчера ездили в Сиверскую. Я хотел на поезде, но Гейгер воспротивился. Сказал, что в поездах вирусы, а у моего организма ослаблена сопротивляемость. По-моему, он преувеличивает. На своем веку мой организм столько сопротивлялся, что поездка в поезде для него – суший пустяк. Но решаю не я – Гейгер.

Поехали на машине. Гейгер, как и прежде, за рулем, я – на сидении рядом. Пристегнут ремнем. Современный автомобиль (лучше – *машина*, посоветовал Гейгер) развивает невероятную скорость. На городских улицах это не очень заметно, но, когда выезжаешь за город, дух захватывает. Когда мы начали обгонять другие машины, я почувствовал, как мои руки вцепились в подлокотники кресла. Гейгер это тоже заметил и сбавил скорость. Какой же (улыбнулся) русский не любит... Я тоже улыбнулся. Подумал, что, если бы на этой скорости мы во что-нибудь врезались, мой организм разлетелся бы на части – независимо от сопротивляемости. Да и гейгеровский тоже.

Впереди идущие машины поднимали поземку и осыпали нас комьями грязи, отчего ветровое стекло то и дело туманилось. Не пропускало не только ветра, но и света. Хитроумный Гейгер брызгал на него водой и чистил *дворниками*. Научившись опускать окна, я нажал было на кнопку, но в машину ворвался такой смерч, что я тут же окно закрыл. Да, лучше так, кивнул Гейгер. Лучше так.

Мы *припарковались* у железнодорожной станции, которую я не узнал. Точнее, узнал вроде бы одно из станционных строений, которое теперь стало магазином. Вот ты сейчас какая, Сиверская... Когда мы вышли из машины, Гейгер попросил меня надеть марлевую маску. Я пожал плечами и надел. В конце концов, главный здесь он, а я привык подчиняться. Но даже сквозь марлю чувствовался ни на что не похожий сиверский воздух. По улице с убогими пятиэтажными домами мы двинулись в сторону плотины.

В Сиверской стало понятно, что зима кончается. Есть ведь особый запах весны, который появляется тогда, когда повсюду еще лежит снег. Не запах, скорее – какая-то мягкость воздуха.

– А где дача барона Фредерикса? – Из-за маски мой голос звучит глухо, как-то даже обвиняюще.

– Не сохранилась.

Снег уже рыхлый, не скрипит.

– Почему не сохранилась?

Неопределенный жест Гейгера, не предполагающий дальнейших “почему”. Мы спускаемся к плотине. Стоящие у воды развалины под завязку забиты мусором. Любуемся тем, как откуда-то из-под нас вырываются пенные потоки. Я ведь никогда не бывал здесь зимой, и от этого мне немного легче. То, что Сиверская не похожа сама на себя, при желании можно объяснить ее зимним состоянием. А летом всё еще может вернуться. Абсолютно всё, включая дачу Фредерикса.

Да, вот она, дорога: перейдя плотину, по этой дороге мы тогда поднимались. Красные утесы. И ведь отец был жив тогда, и бабушка. И мама. Я всё про маму думаю и не хочу у Гейгера спрашивать, как там она. Там. Понятно ведь, что давно умерла, а вот услышать это боюсь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.